



В.Н. КОКОВЦОВ

ИЗ МОЕГО ПРОШЛОГО

1903—1919

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ
РУССКОЙ ИСТОРИИ

Владимир Коковцов

**Из моего прошлого. Воспоминания
выдающегося государственного
деятеля Российской империи
о трагических страницах
русской истории. 1903–1919**

«Центрполиграф»

1933

УДК 93-94

ББК 63.3(2Рос-Рус)535+63.3(2 Рос-Рус)6

Коковцов В. Н.

Из моего прошлого. Воспоминания выдающегося государственного деятеля Российской империи о трагических страницах русской истории. 1903–1919 / В. Н. Коковцов — «Центрполиграф», 1933

ISBN 978-5-227-09862-7

Выдающийся государственный деятель, человек, близкий к императору Николаю II, занимавший ключевые посты в правительстве Российской империи в 1904–1914 годах и возглавивший правительство после гибели премьер-министра П. А. Столыпина, рассказывает о трагических страницах русской истории, о том, что ему довелось увидеть и пережить. В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 93-94

ББК 63.3(2Рос-Рус)535+63.3(2 Рос-Рус)6

ISBN 978-5-227-09862-7

© Коковцов В. Н., 1933

© Центрполиграф, 1933

Содержание

Вступление	7
Вместо предисловия	10
Часть первая	13
Глава I	13
Глава II	21
Глава III	35
Глава IV	44
Глава V	52
Глава VI	59
Глава VII	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Граф Владимир Николаевич Коковцов
Из моего прошлого. Воспоминания
выдающегося государственного деятеля
Российской империи о трагических
страницах русской истории. 1903–1919

Дела давно минувших дней...

А. С. Пушкин

© «Центрполиграф», 2022



Вступление

Владимир Николаевич Коковцов относился к числу незаурядных государственных деятелей царской России. Много лет он занимал должность министра финансов (с небольшим перерывом, с 1904 по 1905 г. и с 1906 по 1914 г.), а после трагической гибели П. А. Столыпина был назначен еще и на пост председателя Совета министров. Совмещать две правительственных должности такого уровня – дело очень непростое, но Коковцов нес этот груз с честью.

Помимо всего прочего, на долю Владимира Николаевича Коковцова выпало управлять финансами необъятного и столь сложного во всех отношениях государства, как Российская империя, в тяжелый исторический период – проигранная Русско-японская война и затянувшаяся Первая русская революция 1905–1907 гг. грозили обрушить экономику страны, только-только на рубеже веков добившуюся ощутимых успехов. И вот теперь страна балансировала на грани пропасти. Гораздо менее сложные проблемы вызывали страшные финансовые кризисы, преодолевать которые приходилось годами...

Но ответственный, вдумчивый и осторожный министр финансов сумел стабилизировать экономику и избежать краха банковской системы, не допустил девальвации рубля и даже не отказался от свободного обмена бумажных ассигнаций на золотые рубли (что считал особо важным преимуществом национальной валюты Российской империи).

Как ни странно, это десятилетие вопреки всем проблемам и бедам, оказалось одним из самых благоприятных для экономики страны. Велось масштабное железнодорожное строительство, связывающее далекие регионы России с центром, развивалось промышленное производство; выпуск продукции увеличивался на сотни процентов. Шаги, предпринятые для наделения малоземельных крестьян посевными площадями, распространения современной сельскохозяйственной техники, агрономической культуры и образования, выпуск удобрений промышленного производства ставили Россию в число ведущих стран производителей и экспортеров аграрной продукции.

В. Н. Коковцов в своих мемуарах привел некоторые статистические данные, характеризующие экономическое развитие России и вызывающие настоящее удивление. К примеру, объем вкладов в государственных сберегательных кассах, любимом детище Коковцова, где хранили свои сбережения простые люди – крестьяне, рабочие, ремесленники, мастеровые, прислуга и мелкие чиновники (сберегательные кассы – не элитные банки и не коммерческие общества инвесторов), увеличился за этот период вдвое – с 1 млрд 22 млн руб. в 1904 году до 2 млрд 100 млн руб. к концу 1913 года, то есть в два раза. Баснословные деньги по тем временам! И рост доходов населения вызывал у Коковцова неподдельную гордость. Он не случайно в начале XX века руководил комиссией, исследовавшей благосостояние сельского населения в губерниях Средней России в сравнении с другими областями страны, и позже всеми силами старался это благосостояние повышать.

Много им было сделано для крестьянства, для решения остро стоявшего земельного вопроса. Достойный наследник начинаний П. А. Столыпина, Коковцов проводил важнейшие мероприятия для наделения крестьян землей.

Впрочем, у В. Н. Коковцова было множество ответственных дел кроме обычной министерской работы – от курирования строительства и эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги в Маньчжурии до приобретения в казну частных коллекций предметов, связанных с именем А. С. Пушкина и ставших основой собрания Пушкинского Дома. В. Н. Коковцову суждено было оказаться и последним попечителем Императорского Александровского лицея.

Пользовавшийся огромным уважением среди европейских правителей, Коковцов делал все, чтобы не допустить втягивания России в войну, вопреки политике военного министра В. А. Сухомлинова, заявлявшего: «Все равно войны нам не миновать, и нам выгоднее начать её

раньше... Государь и я, мы верим в армию и знаем, что из войны произойдет только одно хорошее для нас».

В 1913 году мудрый подход премьер-министра Коковцова помог избежать вступления России в войну на Балканах, но его «противник» Сухомлинов продолжал плести интриги. В начале 1914 года император освободил Коковцова от занимаемых в Совете министров должностей. Отставка была почетной, с присвоением графского титула и назначением на престижные посты (от которых, увы, мало зависела государственная политика).

Через полгода разразилась Первая мировая война, со всей ясностью показавшая, насколько был прав Коковцов. К весне 1915 года стало очевидным плохое снабжение армии, бывшее на совести военного министра Сухомлинова, и злоупотребление им финансовыми средствами, о чем регулярно докладывал Коковцов, пока его не отстранили от дел. Сухомлинова сняли с должности, потом начали расследование его деятельности, уволили из армии, весной 1916 года подвергли аресту... Но положения это уже не спасло, роковые события, погубившие Российскую империю, продолжали развиваться. Приближался революционный 1917 год.

Фигура В. Н. Коковцова была слишком известной и заметной в обществе. Хотя в 1917 году он был уже не у дел, но продолжал оставаться вдумчивым и государственно мыслящим свидетелем происходящего, оставившим потомкам искренний рассказ о пережитом. Его, как царского министра, допрашивала Чрезвычайная комиссия Временного правительства, потом арестовала ВЧК большевиков, конфисковавшая почти все его бумаги... Чудом его выпустили на свободу, но было ясно, что ненадолго. Многие его коллеги по правительственной работе были арестованы и погибли, до бывшего премьер-министра доходили слухи, что его вот-вот вновь арестуют и уже не отпустят. Речь шла буквально о жизни и смерти. Надо было бежать из Петрограда, но Владимир Николаевич не мог оставить жену, понимая, что тогда аресту и расстрелу подвергнут ее. С невероятным трудом и опасностями, бросив все, лишь со сменой белья в бумажном свертке, супругам Коковцовым удалось вместе перейти границу с Финляндией...

Но какой болью отозвалось в его душе это вынужденное бегство из родной страны, которой было отдано столько сил, веры и таланта! Российская империя, которую бывший министр всегда мечтал видеть процветающей, влиятельной и богатой, перестала существовать. На ее землях развернулась жестокая, братоубийственная Гражданская война, и от ее исхода зависело – сможет ли Россия удержаться как единое государство, или окончательно распадется на мелкие осколки и исчезнет. В. Н. Коковцов был очень разочарован действиями бывших союзников – страны Антанты совсем не стремились по-настоящему помочь России справиться с бедами, а руководствовались собственными расчетами.

Но ясно было одно – какая бы из сторон ни взяла верх в войне, многим, очень многим людям придется навсегда оставить свою родину. Послереволюционное рассеяние русских людей по миру осталось тяжелой трагедией в судьбе России...

В отличие от многих русских эмигрантов революционной поры у графа В. Н. Коковцова на чужбине все сложилось относительно благополучно. Графу не пришлось голодать. Его лично знали в правительственных и финансовых кругах европейских стран, опыт и незаурядный талант финансиста оказались востребованы. Он, уже не молодой человек, достигший шестидесятипятилетия, получил предложение возглавить международный банк. Но все это не заменяло прошлой жизни и не избавляло от тоски по утраченной родине, горькой, отчаянной тоски, которая сквозит среди строк его воспоминаний, хотя в них он дает довольно объективную оценку прошлому и раскрывает многие тайны нашей истории.

В. Н. Коковцов сохранил верность своей стране, оставаясь русским и помогая соотечественникам, находящимся в сложных обстоятельствах. Даже те, кто вольно или невольно причинял ему неприятности в давней, навсегда ушедшей царской России, теперь приходили к нему за помощью и, как правило, получали ее.

Был граф Коковцов предан и своему погибшему государю, которому всегда с честью служил, в эмиграции основав и возглавив «Союз верных памяти императора Николая II».

Скончался граф В. Н. Коковцов в 1943 году, в оккупированном Париже...

Печатается по изданию:

Коковцов В. Н. Из моего прошлого: Воспоминания, 1903–1919 гг. / Граф Владимир Николаевич Коковцов. – Париж: Иллюстрированная Россия, 1933.

Т. I. – 505 с.

Т. II. – 504 с.

Текст книги приведен в соответствие с современными правилами орфографии.

Вместо предисловия

В декабре 1872 года, имея от роду 19 лет, я окончил курс Императорского Александровского лицея¹.

По настоянию трех известных профессоров юридической специальности того времени А. Д. Градовского, Н. С. Таганцева и С. В. Пахмана я хотел посвятить себя ученой карьере и избрать для себя специальностью государственное право. Для этой цели я задумал поступить в Санкт-Петербургский университет по юридическому факультету, пройти насколько окажется возможным быстро полный его курс и затем попытаться выдержать магистерский и докторский экзамены и добиться соответствующих ученых степеней.

В этом моем желании меня горячо поддержал мой отец, сказавший мне, что он обеспечивает мне безбедное существование на все время моих научных занятий и настаивает на том, чтобы я не стремился зарабатывать непривычным трудом средства к жизни, отнимая время от научной работы.

Судьба решила, однако, иное. Прошло всего два месяца с того дня, когда прямо с лицейского выпускного акта я отвез в университет мой лицейский диплом и состоявшееся особое обо мне постановление, как скончался скоропостижно мой отец, и вся наша многочисленная семья оказалась в очень трудном материальном положении.

Мне пришлось отказаться от моего желания и пойти по обычной для того времени, для всех окончивших курс лицея, дороге – искать поступления на государственную службу.

10 марта 1873 года я поступил кандидатом на штатные должности в Департамент Министерства юстиции; сначала по статистическому, затем по законодательному и, потом, по уголовному отделениям и, в течение ровно 44 лет, до марта 1917 года, без всякого перерыва, я оставался на государственной службе.

Февральская революция 1917 года положила конец этой моей службе.

Временное правительство, сменившее царское, простым декретом прекратило существование Государственного совета, к составу которого я принадлежал более двенадцати лет. Я разделил поэтому общую участь – оказался просто выброшенным за борт, недоумевая, как и все, на что решиться, что предпринять. Шесть месяцев спустя, подчиняясь также общему уделу, я лишился всех моих скромных сбережений и всего моего имущества, и год спустя, в ноябре 1918 года, спасая жизнь жены и свою, я покинул родину, без всякой надежды когда-либо увидеть ее.

За 44 года моей службы мне пришлось пройти довольно разнообразный путь.

После шести лет службы в Министерстве юстиции – одиннадцать лет моей жизни, в самые молодые мои годы, с 1879 по 1890 год, я отдал работе в должности старшего инспектора и помощника начальника Главного тюремного управления в период коренного переустройства этой отрасли управления на началах, выработанных выдающимся государственным человеком того времени – статс-секретарем К. К. Гротом.

Я вспоминаю эту пору моей деятельности с величайшей благодарностью. Она дала мне возможность приобрести самые разнообразные познания в нашей административной службе, и им я обязан тем, что во многих случаях моей последующей работы я оказался более подготовленным, нежели многие из моих сослуживцев.

¹ Царскосельский лицей, выпускником которого был А. С. Пушкин, получил название Императорский Александровский лицей после перевода его из Царского Села в Санкт-Петербург в 1843 г.

Шесть лет, с 1890 по 1896 год, я принадлежал к составу Государственной канцелярии², занимая в ней должности: помощника статс-секретаря, статс-секретаря и товарища государственного секретаря. Эти годы дали мне возможность близко изучить вопросы бюджета и государственного хозяйства и подготовили меня к следующим шести годам, с 1896 по 1902 год, которые я провел в должности товарища министра финансов, в бытность министром графа Витте.

После короткого промежутка в два года, с 1902 по 1904 год, когда я занимал должность государственного секретаря, я снова вернулся в Министерство финансов, чтобы оставаться в течение десяти лет на посту министра, который я совмещал почти три года, с 1911 по 1914 год, с должностью председателя Совета министров.

В ту минуту, когда мне пришлось покинуть мой двойной пост в конце января 1914 года, я сказал себе, что за последнюю пору моей жизни судьба поставила меня свидетелем и даже деятельным участником немалого количества событий и на мне лежит, до известной степени, моральный долг оставить, в виде моих воспоминаний, след тому, что я видел, в чем участвовал и что я делал среди этих событий.

К тому же эти последние годы моей активной деятельности с 1903 по 1918 год вообще мало освещены. Воспоминаний, дающих правдивый и обоснованный пересказ того, что было в эту пору, вообще немного. Большая часть очевидцев и деятелей этого времени умерли, не опубликовав своих воспоминаний и даже, вероятно, не оставив их. Таким образом, целая эпоха, которая, во всяком случае, достойна быть освещена, может просто не оставить следа, если не будет сделано попытки сказать про нее правдивое слово.

Поэтому мне казалось, что на мне лежит именно этот долг – сохранить от забвения и уберечь от неправды то, что проходило передо мною, хотя бы потому одному, что у меня еще хорошая память обо всем, что было, а еще более потому, что я случайно сохранил также все, что мне удалось записать в свою пору, в виде коротких заметок, хотя и не сопровождаемых подробными записями, но зато, в последовательном порядке, оставивших след почти всем событиям, на которых останавливалось мое внимание.

Эти записи послужили для меня тем источником, из которого я мог почерпнуть воспоминания, почти день за днем, о том, что я видел, что пережил и что и сейчас напоминает мне все мое прошлое и не дает печальной действительности затушевать его, а тем более уничтожить его.

Я даю себе ясный отчет в том, что условия моей жизни после 1914 года мало благоприятствовали тому, чтобы придать моим воспоминаниям тот объем и тот характер, который мне хотелось дать им в ту минуту, когда я начинал приводить в порядок мои записи и отметки.

Сначала война, потом революция и, наконец, уход в изгнание – все это отняло от меня то спокойствие духа, а может быть даже, и возможность вполне объективно сосредоточиться на прошлом, на деталях, без которых самый пересказ о том, что пережито и испытано, может показаться недостаточно уравновешенным, а отчасти даже и недостаточно интересным, по сравнению с теми событиями, которые пришли ему на смену.

Я решил поэтому сузить объем моих воспоминаний, ограничив их только последнюю пору моей жизни и деятельности на родине, так как за эту пору я был не только свидетелем, но и деятелем моего времени и несу за нее известную ответственность.

Я не пишу историю моего времени. Я говорю только о том, что было при мне и при моем непосредственном участии. Я составляю, так сказать, путевой журнал пройденного мною пути, и в нем я останавливаюсь перед отдельными явлениями, встреченными мною на моей

² Государственная канцелярия Российской империи (1870–1917 гг.) – учреждение, занимавшееся организацией работы Государственного совета и образованных при нем особых совещаний, комитетов и комиссий.

жизненной дороге, и даю им фотографический снимок, без ретуши и, тем более, без всякой попытки осветить их искусственным светом.

Я старался избегать всякого рода обобщений и широких выводов. Единственное, от чего я не хотел отойти в моем рассказе ни на минуту, – это от того, чтобы всегда говорить правду, одну правду, но зато и – всю правду.

Отсюда, по необходимости, все мои воспоминания окрашены чисто личным освещением. В этом их большой недостаток, но зато, быть может, и некоторое достоинство.

Часть первая

На посту министра финансов до моего первого увольнения 1903–1905 годы

Глава I

Отставка С. Ю. Витте и назначение управляющим Министерством финансов Э. Д. Плеске. – Обстоятельства, при коих состоялась, неожиданная для Витте, его отставка. – Болезнь Э. Д. Плеске и мое участие в бюджетной работе 1903 г. – Первые слухи о порче отношений с Японией. – Нападение на Порт-Артур и начало войны. – Мое назначение управляющим Министерством финансов

Лето 1903 года, как и лето предыдущего года, когда я только что был назначен на должность государственного секретаря, мы проводили у себя в деревне близ станции Веребье Николаевской железной дороги. Я собирался в начале августа поехать в Гамбург, куда должна была приехать к концу моего там пребывания жена, и мы должны были вместе съездить на две недели в Париж, перед тем, чтобы окончательно вернуться в город на зиму. Время шло в деревне, как всегда, мирно, беззаботно. Государственный совет был закрыт, и ничто не нарушало того идеального покоя, который был так дорог после шести трудных лет моей службы на должности товарища министра финансов.

Готовясь к отъезду за границу, я приехал на несколько часов в город и зашел в Государственный банк к моему другу Э. Д. Плеске, чтобы узнать от него, не могу ли я навестить в тот же вечер на даче в Парголово его и его семью, с которою я был также дружен и даже, пожалуй, еще более близок, чем с ним самим. Мы условились, с каким поездом мне лучше всего поехать, но сам он не мог поехать одновременно со мною, так как был позван на обед к министру финансов С. Ю. Витте.

Я собирался было уже ехать на Финляндский вокзал около пяти часов, как раздался телефонный звонок с дачи Витте, и мадам Витте от имени мужа и своего просила меня непременно обедать у них, сказав, что мужу очень хочется видеть меня и он обрадовался, узнав от Эдуарда Дмитриевича о моем приезде из деревни.

Зачем именно понадобилось позвать меня на обед, я так и не понял, потому что никаких особых разговоров со мною не было, и я уехал оттуда довольно рано, одновременно с Плеске, торопившимся к себе на дачу, и очень сожалел о том, что я не попал в Парголово, так как на следующий день в три часа я выехал обратно в деревню.

Если я упоминаю об этом обеде у Витте, то только потому, что все разговоры за столом вертелись исключительно около намеченной Витте поездки его с семьею в половине августа на Черноморское побережье, на его дачу около Сочи, и он не раз упрекал меня за то, что я не имею дачи на побережье, так как там, по его словам, настоящий рай – не то что «в вашей любимой загранице», как выражался он, утверждая, что терпеть не может поездок на Запад. Затем не раз Витте касался всевозможных вопросов, застрявших в Государственном совете, просил меня помочь двинуть их в самом начале сессии, намекал на его постоянные трения с министром внутренних дел Плеве, и решительно ничто не говорило за то, что он собирается покидать министерство.

Наутро Э. Д. Плеске позвонил ко мне по телефону, чтобы передать сожаление его семьи по поводу того, что я не был у них вчера, и прибавил: «Смотри, как бы тебя не вытащили из твоего прекрасного далека».

На вопрос мой, что это значит, он мне сказал только: «У нас много говорят о том, что будет скоро большая перемена, и кому же, как не тебе, возвращаться на старое пепелище». Я не придавал этому никакого значения, вернулся в деревню, просидел там еще около трех недель и в самом начале августа выехал в Гамбург, без остановки в Берлине. В половине августа, 16-го или 17-го числа нового стиля, подхожу я к источнику пить воду, навстречу ко мне идет Столпаков и показывает третье прибавление к франкфуртской газете, в котором напечатано известие из Петербурга о назначении Витте председателем Комитета министров и о замещении его в должности министра финансов Э. Д. Плеске.

Прямо от источника, не заходя домой, я прошел на телеграф и послал горячую приветственную телеграмму моему другу и товарищу детства, желая ему самым искренним образом успеха на трудном посту. Прошло два дня, и ответной телеграммы от него не было. Только ночью второго дня, когда все спало мирным сном в тихом и уютном Гамбурге, я проснулся от сильнейшего стука в калитку виллы Фелль, в которой я занимал комнату в нижнем этаже с выходом прямо в сад.

Никто не выходил на стук, я встал, надел халат и вышел в сад. Оказалось, что давно уже напрасно добивается открытия калитки посланный с телеграфной станции для передачи именно мне двух депеш, – одной простой, другой срочной, которая и оправдывала, собственно говоря, ночную доставку, так как по правилам того времени телеграммы доставлялись на дом только до 9 часов вечера. Первая депеша была от Плеске с выражением самой теплой благодарности за приветствие и надежды на помощь в трудную минуту, а вторая – от моего товарища по должности государственного секретаря, барона Иксуля, с извещением, что с председателем Государственного совета великим князем Михаилом Николаевичем случился удар, что его жизнь в опасности и что, по совету многих близких мне людей (я понял, что дело идет о графе Сольском), мне необходимо немедленно приехать в Петербург и получить от кого следует (то есть от государя) соответствующие указания.

Вечером того же дня я выехал в обратный путь, предварительно попросив того же барона Иксуля предупредить жену о моем приезде.

Помню хорошо, что я приехал домой в воскресенье; в то же утро, несколькими часами раньше меня, приехала жена из деревни, и мы сидели дома, когда около трех часов к нам приехал в мундире и ленте Э. Д. Плеске, делавший в этот день официальные визиты. День был очень жаркий и душный.

Когда он вошел ко мне в кабинет, мы оба с женою не могли удержаться от вопроса, что с ним, настолько нас поразил его внешний вид: бледный, с бескровным лицом, покрытый потом, он едва держался на ногах и с трудом опустился в кресло, ища какого-то положения, при котором он меньше бы страдал. Он ответил нам, что устал от разъездов по городу и его окрестностям, но что это только минутное утомление, которое, вероятно, скоро пройдет. Тут же он рассказал нам, как состоялось его назначение, которого он никак не ожидал, как не ожидал своего увольнения Витте, несмотря на то, что разговоры об этом уже ходили в городе. До меня они не дошли. Я помню хорошо этот рассказ и воспроизвожу его со всею точностью, так как он представляется во всех отношениях весьма характерным. Вот как передал мне покойный Плеске этот инцидент.

В конце июля он доложил своему министру, что никогда не бывал в Сибири и находил крайне полезным для дела побывать там и направить работу отделений Государственного банка, в которых замечалось чрезвычайно резкое повышение всех активных операций, под влиянием большого оживления всей экономической жизни края. В особенности его заботил личный состав отделений, мало приспособленный к новой обстановке. Жаловался также тор-

говый класс на то, что Государственный банк мало реагирует на требования жизни и на то, что частные банки пользуются этими недостатками и жмут торговлю своими тяжелыми условиями.

Витте отнесся к этому предположению очень сочувственно и поставил только два условия: чтобы поездка произошла одновременно с его собственным отъездом на юг и не заняла более одного месяца, так как к началу хлебной кампании он желал бы, чтобы Плеске вернулся из поездки. Предположение это было доложено им государю, не встретило никаких с его стороны возражений, и Плеске стал готовиться к отъезду, около 15 августа. Все было уже приготовлено, найден удобный салонный вагон, подобраны спутники из состава ближайших сотрудников по Государственному банку, испрошены путевые пособия, и оставалось только выждать отъезда министра и отправиться в путь следом за ним.

Поздно ночью 14 августа, когда всё на парголовской даче Плеске спало уже мирным сном, раздался стук в двери, и появился курьер министра Жуковский с запискою Витте, набросанной карандашом: «Сейчас получил приказание государя привезти Вас завтра с собою на доклад. Будьте на Петергофской пристани к 9 часам».

Пришлось разбудить прислугу, послать в город за мундиром, и только под утро удалось все наладить, так как передвижение между Парголовом и городом на лошадях потребовало немало времени. Во время совместной с Витте поездки на пароходе Плеске ничего не узнал, так как Витте сказал ему только, что, вероятно, государь желает видеть его перед его отъездом в Сибирь, так как всегда интересуется Сибирью, тем более что и сам государь собирается через несколько дней выехать в Крым.

Тут же Витте повторил Плеске, что просит его постоянно сноситься с ним по телеграфу шифром, и сказал, что Путилову (директору Общей канцелярии) передано уже распоряжение о снабжении его новым шифром. Во время доклада Витте государю Плеске сидел в маленькой приемной с дежурным флигель-адъютантом и вел самый обыкновенный разговор. Доклад длился очень долго, и собеседник Плеске заметил даже: «Как бы не задержал ваш министр государя с завтраком, этого здесь не любят».

Витте вышел из кабинета государя с весьма смущенным лицом, подал Плеске руку, я сказал ему только: «Я подожду вас на пароходе». Когда Плеске вошел в кабинет, государь посадил его против себя к окну и без всякого вступления, самым простым тоном сказал ему: «Сергей Юльевич принял пост председателя Комитета министров, за что я ему очень благодарен, и я решил назначить вас управляющим Министерством финансов».

Смущенный такой неожиданностью, Плеске несколько времени молчал, а затем сказал, что он не имеет достаточно слов, чтобы выразить свою благодарность за оказываемое доверие, но очень опасается, что не сумеет его оправдать, так как здоровье его очень неважно, да он и не обладает многими свойствами, без которых пост министра ему будет не под силу. На это государь сказал ему: «Но вы обладаете тем преимуществом, которым не обладают другие, – моим полным к вам доверием и моим обещанием во всем помогать вам. Я думал сначала дать вам возможность побывать в Сибири и назначить вас уже после вашего возвращения, но так будет лучше, вы успеете съездить в Сибирь и в качестве министра, когда сами выберете подходящий момент».

Никаких разговоров больше не было, и государь простился со словами: «До будущей пятницы, после чего я сам скоро уеду на отдых в Крым».

На пароходной пристани Плеске застал Витте мирно беседовавшим с кем-то из моряков, но, когда они вошли на яхту и сели в каюту, Витте не удерживался более и разразился нисколько не скрываемым неудовольствием. Плеске не передал мне отдельных слов и выражений, но я хорошо помню из его рассказа, что Витте и не подозревал об увольнении его от должности министра и совершенно не был к этому готов.

Он сказал Плеске, что весь его очередной доклад был выслушан с полнейшим вниманием, все одобрено и утверждено. Витте закончил все очередные вопросы испрошением ука-

заний решительно обо всем, представил государю отдельный экземпляр шифра для сношения с ним во время пребывания его в Ливадии и просил разрешения телеграфировать по всем срочным вопросам, и уже собирался встать и откланяться, как государь, в самой спокойной и сдержанной форме, сказал ему: «Вы не раз говорили мне, что чувствуете себя очень утомленным, да и немудрено устать за 13 лет. Я очень рад, что имею теперь возможность предоставить вам самое высокое назначение, и сделал уже распоряжение о назначении вас председателем Комитета министров.

Таким образом, мы останемся с вами в постоянных и самых близких отношениях по всем важнейшим вопросам. Кроме того, я хочу показать всем мое доверие вашему управлению финансами тем, что назначаю вашим преемником Плеске. Надеюсь, что это доставит вам только удовольствие, так как я хорошо помню, как часто вы говорили о нем в самых сочувственных выражениях, да и со всех сторон я слышу о нем только одно хорошее, его очень любит и моя матушка».

«Вы понимаете, – сказал Витте, – что меня просто спустили. Я надоел, от меня отделились, и мне следует просто подать в отставку, что я, конечно, и сделаю, но не хочу сразу делать скандала».

В конце сентября или в самых первых числах октября того же года, под конец нашего пребывания в Париже, мы с женою собирались уже в обратный путь домой. За день или за два до отъезда, – мы жили тогда в отеле д'Альбани на рю де Риволи, – к нам зашел покойный Я. И. Утин и сказал, что только что встретил на улице Витте, который, узнав, что я здесь, сказал ему, что очень хотел бы меня видеть.

Я отправился по указанному мне адресу, в отель «Вестминстер» на рю де ла Пе, где жил и Утин, и спросил консьержа, дома ли Витте. Тот ответил мне, что никакого Витте у них нет, но есть господин Еттив (те же буквы, читаемые с конца), – «что, впрочем, – прибавил он, – одно и то же».

Я застал его дома, также как и его жену, и его беседа носила характер прямого обвинения государя в неискренности и самого раздраженного отношения к увольнению его с поста министра финансов. На мой вопрос: когда думает он вернуться обратно, он сказал мне, что не принял еще никакого решения, так как ждет некоторых разъяснений о своем увольнении, ибо, прибавил он, «до меня доходят слухи о возможности моего ареста по требованию Плеве, благодаря проискам которого я и уволен».

Я старался обратить весь разговор в шутку, в него вмешалась М. И. Витте и сказала, между прочим, «как вы должны благодарить судьбу за то, что не попали в министры финансов и остались на таком прекрасном, спокойном месте, как должность государственного секретаря». Витте прибавил к этому: «Если бы я только предполагал, что меня уволят, я, конечно, указал бы государю на вас, как на единственного подходящего кандидата, так как Плеске не справится, и ему все равно сломят шею, да к тому же он тяжело болен и не сможет оставаться на этой должности».

Я нимало не сомневаюсь, что он поступил бы как раз наоборот и ни в каком случае не сказал бы ни одного слова в мою пользу, как не говорил, вероятно, ничего доброго про меня, когда я занимал пост министра финансов. Мы расстались на том, что я сказал, что чувствую себя прекрасно на своем месте, никуда не стремлюсь и буду рад помочь Плеске во всем, в чем это окажется для меня возможным, по Государственному совету.

Я пробыл в Петербурге только четыре дня, видел за это время государя, получил от него приказание составить указ о назначении графа Сольского временным заместителем председателя Государственного совета, впредь до выздоровления великого князя, и вместе с женою выехал за границу, следом за уехавшим в Крым государем.

Вернулись мы около 6–7 октября, и первым моим шагом было навестить Плеске, который показался мне сильно похудевшим, даже против того, как он был при нашем отъезде. Тут же

я узнал от него и от моих близких, что в нем, очевидно, таится какая-то тяжелая болезнь, но какая именно, никто не говорит, и только вскользь кто-то упомянул, что у него, по-видимому, внутренняя опухоль, которую называли «саркомой».

Так потом и оказалось. Рассказывали при этом, что уже с начала лета он жаловался на какую-то неловкость с левой стороны, избегал ходить, почти отказался от любимой игры с детьми в теннис, и как-то в начале августа, еще до назначения его на новую должность, поехал к своему двоюродному брату на дачу в Знаменку и возвращался оттуда в Новый Петергоф на железную дорогу на его одиночке.

Лошадь чего-то испугалась в парке, понесла, и он и жена его воспользовались удобною минутою, выпрыгнули из экипажа, сам Эдуард Дмитриевич прыгнул прямо на ноги и тут же почувствовал жгучую боль во всей левой тазовой полости, и с той минуты эта боль уже не проходила и усиливалась день ото дня. Он переносил ее со стоическим спокойствием, не показывая близким своих страданий. Знала о них, по-видимому, только его прелестная старшая дочь, Нина, не оставлявшая своего отца ни на минуту и в уходе за ним потерявшая окончательно свое хрупкое здоровье. Под влиянием страданий, пережитых ею у постели нежно любимого отца, у нее развилась чахотка, и через три года после кончины отца не стало и ее.

С возобновлением сессии Государственного совета, 1 ноября, Э. Д. Плеске стал было появляться в его заседаниях, но ненадолго. Было очевидно, что всякое движение ему просто не под силу. Он не мог подняться по лестнице даже во второй этаж в зал заседаний и пользовался лифтом, которым не пользовался никто, кроме не владевшего ногами графа Сольского. Скоро начались сметные задания по четвергам, ему, видимо, хотелось бывать во всех них, но силы не позволяли ему высиживать почти без перерыва с часу до пяти и иногда даже до шести, и после одного из них меня кто-то из семьи попросил заехать вечером, хотя мы с женою заходили часто в Государственный банк, – где Плеске все еще оставался, так как квартира для него в здании министерства была далеко не готова, да так он в нее и не переехал.

Это мое посещение оставило во мне глубокое впечатление. Я прошел прямо в его спальню. Он попросил свою милую старшую дочь, его бессменную сиделку, выйти на минуту и сказал мне, что просит меня дать ему дружеский совет, как ему поступить. Он сказал, что чувствует крайнюю необходимость бывать во всех сметных заседаниях, но положительно не видит к тому никакой возможности, так как его здоровье не улучшается, и доктор требует полного отдыха, запрещая вообще какие-либо выезды.

У него явилась поэтому мысль написать об этом откровенно государю, высказать, что без личного участия министра нельзя вообще составить бюджета, и потому он вынужден просить освободить его от должности, которую он не может добросовестно занимать, и позволить себе даже высказать откровенно, что в моем лице государь имеет человека гораздо более подготовленного, чем он.

Я просил его не делать этого и, во всяком случае, не упоминать обо мне. Два месяца тому назад, сказал я, у государя была возможность выбора лица по его непосредственному усмотрению, и он остановил свой выбор на нем, а не на мне. Очевидно, под влиянием временного недомогания – я не знал еще, что болезнь его безнадежна, – государь не согласится отпустить человека, к которому он питает доверие, и нельзя ставить государя в тяжелое положение, в особенности когда он только что приехал на отдых.

Я предложил ему поэтому пока ничего не делать, перестать ездить в Совет, написав об этом только графу Сольскому, которого я обещал расположить в пользу такого решения, и – располагать мною во всем, в чем я могу быть полезен ему для сметных заседаний, так как его товарищ³ Романов действительно не годится для проведения бюджетных заседаний. Что происходило в душе этого скрытного, но утонченно благородного человека, я, конечно, не знаю, но

³ Заместитель.

думаю, что он уже и тогда чувствовал безнадежность своего положения и только не показывал окружающим. Он обнял меня, благодарил за совет и за готовность помочь, обещал подумать, прося меня ничего пока не говорить графу Сольскому.

Несколько времени спустя я узнал в разговоре с женою Эдуарда Дмитриевича, что он получил от государя крайне милостивое письмо, с выражением ему полного своего доверия, с просьбою беречь себя для будущей работы и отнюдь не обременять себя никакими второстепенными делами.

Было ли это письмо ответом на обращение самого Плеске или же самостоятельным порывом государя под влиянием дошедших до него слухов о болезни, я не знаю, но уже гораздо позже, как-то спросив государя к подошедшему слову, – писал ли ему Плеске о своей болезни и просил ли он освободить его от непосильной работы, узнал, что Плеске ему писал еще в Ливадии, а на вопрос, указывал ли он на желательность заместить его мною, государь также ясно и категорически ответил мне, что этого положительно не было, и обещал даже поискать письмо Плеске, «которое, вероятно, сохранилось у меня», – сказал он, прибавив, что «я помню, как растрогало это письмо меня и императрицу своею удивительною теплотою и благородством, сквозившим в каждом слове».

По мере того как подвигалась сметная работа в Департаменте экономии, мне пришлось принимать все большее и большее участие в ней. Вышло это как-то само собою. Между мною и графом Сольским существовали самые близкие отношения. Он просил меня, не стесняясь формальными условиями прохождения смет по Департаменту экономии, помочь «Романову, которого просто забывают представители министерств» и припомнить «доброе старое время, когда вы защищали финансовое ведомство», и я стал просто во всем помогать Романову.

Не проходило заседания, чтобы он не благодарил меня за помощь, хотя она фактически была оказываема больше графом Сольским, чем мною, ибо последний пользовался огромным авторитетом среди всего чиновничьего мира, и мои справки и объяснения принимались только потому, что он их всегда поддерживал. Часто, почти каждый день, я заходил к Плеске, и он всякий раз горячо благодарил меня, а как-то раз, уже в начале декабря, сказал при покойном И. И. Кабате: «Мне придется испросить разрешение государя предоставить государственному секретарю давать за меня объяснения и в общем собрании по бюджету, так как он составлен и проведен им одним».

Все время до конца января прошло как-то серо и незаметно. Поговаривали смутно о том, что начинают портиться отношения с Японией; в так называемых кулуарах Государственного совета все чаще и чаще слышались разговоры о Ялу, о концессии Безобразова, о чем я ничего не знал, но жизнь шла своим обычным ходом, и ничто не предвещало близкой грозы. Среди всяких пересудов господствовало презрительное отношение к Японии и японцам, и наиболее самоуверенные речи приходилось слышать от военного министра Куропаткина, который, ссылаясь на свою недавнюю поездку в Японию, постоянно твердил одно: «Разве они посмеют, ведь у них ничего нет, и они просто задирают нас, предполагая, что все им поверят и испугаются».

Столица жила своею обычною жизнью и даже веселилась больше обыкновенного. В Эрмитаже дан был даже, после большого перерыва, придворный спектакль, на котором присутствовал весь дипломатический корпус, не исключая и японцев, явившихся, как всегда, в полном составе. Правда, с появлением их как-то стали больше переговариваться втихомолку, а во время театрального перерыва в залах стали собираться группы, и из их среды раздавались голоса о том, что из Владивостока пришли какие-то известия о каком-то морском столкновении в Порт-Артуре, но никто ничего толком не говорил, и все разъехались в самом благодушном настроении.

Наутро получилось, однако, совсем иное. Газеты сообщили открыто, что на рейде Порт-Артура, без всякого предупреждения, совершено нападение японскими миноносцами на нашу эскадру, и два броненосца – «Паллада» и «Ретвизан» – выведены из строя. Война между Рос-

сией и Японией началась без объявления ее. Общее настроение было, конечно, полно возмущения от такого явного нарушения обычаев всего света, но никакой тревоги не было. Все смотрели на это как на эпизод, никто не придавал ему никакого значения, и презрительные слова «макаки» по отношению к японцам, приправленные полнейшею уверенностью в быстром окончании «авантюры», не сходили с уст. Стали, однако, тотчас же принимать нужные меры.

Я не знал в первую минуту, что делалось по военному ведомству, но в тот же день – 28 или 29 января – граф Сольский пригласил меня к себе и решил созвать чрезвычайное заседание департаментов Государственного совета для решения вопроса о пересмотре только что утвержденного бюджета. Работа пошла энергично, и в несколько дней последовали сокращения по всем ведомствам. В этой работе мне пришлось принять уже совершенно открытое участие. С этим фактом, хотя и выходящим из пределов законных рамок и обычаев, все примирились. Министерство финансов не возражало и оказывало мне всякую помощь, поворчал только государственный контролер Лобко, но и его убедил его товарищ Философов в необходимости помочь Романову, которому не справиться с этою работою. Впрочем, через неделю с небольшим все дело приняло нормальный и законный ход с моим назначением на должность управляющего Министерством финансов.

Это назначение состоялось 5 февраля. Ему предшествовал следующий эпизод.

Тотчас после начала военных действий граф Сольский, как председатель Финансового комитета, собрал у себя на дому заседание комитета. В нем участвовал и Витте, который после увольнения от должности министра был назначен членом Финансового комитета. При открытии заседания граф Сольский заявил, что Финансовому комитету следовало бы принять решение – каким порядком следует утверждать расходы, связанные с начавшеюся войною, но ему неизвестно, выработаны ли какие-либо предположения финансовым ведомством и готов ли товарищ министра Романов представить их комитету от имени министра.

Романов ответил, что война возникла столь неожиданно, что министерство не могло приготовить никакого своего плана, в особенности при ежедневно ухудшавшемся здоровье министра, которого он положительно стесняется тревожить таким вопросом. Весь комитет, не исключая и Витте, согласился с тем, что необходимо обождать представления соображений ведомства, тем более что, очевидно, изменившиеся обстоятельства потребуют быстрого решения вопроса о том, не последует ли какой-либо перемены в самом управлении ведомством, при тяжкой болезни Э. Д. Плеске.

Финансовый комитет в этом заседании решил только просить государя усилить состав комитета двумя новыми членами для того, чтобы ближе следить за ходом дел в связи с войною. В кандидаты предложили меня и Шванебаха. Участники этого заседания, как передавал мне потом граф Сольский, обменялись под конец некоторыми их взглядами, но все были того мнения, что вопрос о способах покрытия расходов войны не представляется еще особенно срочным, потому что военные действия будут, несомненно, развиваться медленно, на первое же время имеются, хотя и небольшие, ресурсы, в сокращениях, произведенных в бюджете.

Общий тон разговоров был совершенно спокойный, так как большинство участников заседания разделяли общее настроение о том, что война не может принять слишком значительного объема. Назначение новых членов Финансового комитета состоялось 3 февраля. Помню хорошо этот день. Это был вторник. Плеве позвонил ко мне по телефону и спросил, что обозначает такое назначение? Я объяснил ему только то, что знал от Сольского, и в шутку прибавил: «Как бы эти броненосцы Финансового комитета не подверглись той же участи, какая постигла наши суда в порт-артурской бухте. Не знаю, какую пользу принесут они делу».

На другой день, в среду вечером, Плеве опять позвонил ко мне и сказал, что «из двух броненосцев, „Паллады“ и „Ретвизана“, – один, не знаю уж который, взорван, и ему предстоит занять пост не особенно приятный в настоящую минуту. Сердечно желаю ему успеха,

но скорблю о том труде, который выпадает на его долю». Расспрашивать его по телефону я не мог, да и по характеру моего собеседника знал, что больших подробностей от него не услышу, тем более что для меня было ясно, что идет речь именно о моем, а не Шванебаха назначении, так как Плеве, конечно, не сказал бы мне ни слова, если бы дело касалось Шванебаха.

Ясно было также и то, что решение стало известно Плеве из первоисточника, так как потом, уже в конце этого дня, стало известно, что он был в Зимнем дворце у государя, вне очереди. Во весь вечер и даже утром следующего дня я не получил никаких подтверждений этого сообщения и после завтрака, около половины первого, пошел, по обыкновению, пешком в Государственный совет для участия в очередном заседании Департамента экономии.

Не успел я войти в заседание, как ко мне подошел камер-лакей и сказал, что меня вызывают по спешному делу из дома по телефону. Я пришел к себе в кабинет, у телефона была жена, которая передала мне, что из Зимнего дворца дежурный камердинер при комнатах государя передает, что мне приказано быть у государя в два часа с четвертью. Я попросил немедленно прислать мне кучера в санях с лентою и белым галстуком, и ровно в два с четвертью я был в приемной государя, где никогда до того не бывал.

Глава II

Прием у государя и императрицы. – Обстоятельства, при которых состоялось мое назначение. – Встреча с Витте. – Необходимость быстро принять решение о том, каким должно быть направление нашей финансовой политики в связи с войною. – Мое решение было принято в тот же день и встретило полное сочувствие. – Первые мои действия по изысканию средств на ведение войны. – Чрезмерные требования кредитов со стороны главнокомандующего генерала Куропаткина. – Моя беседа с генералом Куропаткиным до отъезда его на театр военных действий. – Ликвидация лесопромышленных предприятий на Ялу. – Приспособление Китайской железной дороги к требованиям военного времени. – Мой конфликт с В. К. Плеве по поводу его проекта передачи фабричной инспекции в ведение Департамента полиции

Государь принял меня немедленно следующими словами:

«В другое время я должен был бы спросить вас, не хотите ли вы доставить мне большое удовольствие принять вместо вашего покойного места место более неприятное – министра финансов, а теперь я просто скажу вам, что я уже распорядился о назначении вас управляющим министерством на место бедного Плеске, который давно просил меня освободить его от непосильной ему работы, но теперь, конечно, не может оставаться номинальным министром, когда нас постигла такая неожиданная беда.

Я знаю вас давно и не допускаю, конечно, ни на одну минуту и мысли о том, что вы откажетесь в такую пору, и потому хотел только, чтобы вы узнали о моем решении от меня, а не из указа, который будет мною сейчас подписан». При этом государь перекрестил меня, обнял и поцеловал, прибавив: «Я понимаю, как трудно быть министром финансов всегда, а во время войны в особенности, но я уверен, что мы скоро покончим войну полной победой над нашим врагом, и я обещаю вам помогать вам во всем и поддерживать вас в вашем труде. Повидайте сейчас же императрицу. Она очень хочет познакомиться с вами и очень рада, что мой выбор пал на вас, так как мы часто говорили с нею о вас».

Я ответил государю, что повинуюсь его воле, так как хорошо понимаю, что в таких условиях никто не имеет права уклоняться от исполнения своего долга, и просил только о помощи и поддержке, так как знаю по давнему опыту, что самое трудное для министра финансов – это домогательства всех ведомств о новых средствах, а во время войны нужно думать только о том, как добыть средства на войну, не расстраивая всего будущего страны. Мы расстались на том, что государь предложил мне осмотреться в течение недели и приехать с первым докладом в следующую пятницу.

Императрица вышла ко мне в гостиную, рядом с Малахитовым залом, поздравила с назначением, сказав (разговор шел по-французски), что она была вполне уверена в том, что я не откажу государю в помощи в такую трудную минуту, и прибавила, что «Мне уже говорили раньше, что вы фактически заменяете министра финансов более трех месяцев и вам нет ничего нового в вашей новой работе. Я хотела вас видеть только для того, чтобы сказать вам, что государь и я, мы просим вас всегда быть с нами совершенно откровенным и говорить нам правду, не опасаясь, что она иногда нам будет неприятна. Поверьте, что если даже это минутно неприятно, то потом мы же будем благодарны вам за это».

Я обещал неуклонно следовать такому справедливому желанию и сказал, что меня всегда считали скупым и неуступчивым, когда я был еще товарищем министра финансов, и только потому, что я всегда одинаково отстаивал интересы государства в спорах как с сильными, так и со слабыми ведомствами, а теперь должен быть еще более неуступчив, потому что война не шутка, и потому я прошу ее величество оказать мне доверие и дать мне возможность правдиво отвечать на жалобы и на неудовольствия на меня, когда они будут, – в чем я нимало не сомневаюсь, – доходить до государя или до нее самой.

Императрица меня также благословила, обещала не верить никаким слухам, а если ей будут жаловаться на меня, то тотчас же вызвать меня и разъяснить всякое недоразумение.

Кто содействовал моему назначению?

Государь мало знал меня лично и никогда не имел случая входить до того в прямые со мною отношения. Он помнил меня в лицо потому, что, в бытность его наследником престола, он аккуратно приезжал в общие собрания Государственного совета по понедельникам и, сидя рядом с председателем, видел меня постоянно перед собою, читающим журналы предыдущих заседаний, иногда весьма длинные, а уходя из заседания, не раз спрашивал меня из любезности: «Вы не очень устали от такого чтения? Я бы его просто не вынес».

Не подлежит никакому сомнению, что, вернувшись еще в декабре из Крыма и узнав, что болезнь Э. Д. Плеске не поддается лечению, он говорил с графом Сольским, что его очень озабочивает вопрос о его заместителе и ему крайне прискорбно, что рассчитывать на симпатичного ему человека ему не приходится. На вопрос, заданный графу Сольскому, как смотрит он на замещение должности министра финансов, Сольский горячо рекомендовал ему меня, но государь медлил с разрешением этого вопроса и, вероятно, еще долго оставался бы в нерешительности, если бы начавшаяся война с Японией не заставила его принять то или иное решение.

Граф Сольский был вызван к государю тотчас после нападения Японии на Порт-Артур, и вопрос о замещении поста министра финансов снова был ему задан государем, и опять граф Сольский повторил ему то, что было уже сказано им еще в конце декабря. Об этой вторичной беседе граф Сольский сказал мне уже после моего назначения, прибавив, что государь просил его никому не говорить о происшедшем между ними разговоре, хотя у него осталось впечатление, что государь вполне склонился на его совет. Прошло, однако, еще несколько дней, а назначения все-таки не было.

Во вторник 3 февраля был с очередным докладом у государя государственный контролер Лобко и в тот же день говорил своим близким, в том числе и своему товарищу Д. А. Философову, что он поддерживал самым горячим и убежденным образом кандидатуру последнего, не скрывая и того, что государь упомянул ему, что он останавливается также и на моем имени, но Лобко не советовал этого делать, говоря – как потом он повторил и лично мне, уже после моего назначения, – что я буду очень тяжел для всех министров, так как хорошо знаю бюджет, буду очень резать новые расходы и стану вообще очень настойчиво проводить мои взгляды.

В среду 4-го числа был вызван в Зимний дворец министр внутренних дел В. К. Плеве, о чем в тот же день говорили в министерствах, и эту поездку потом связывали с моим назначением, приписывая Плеве окончательное устранение колебаний государя с замещением должности министра финансов. Так ли это было на самом деле или нет – я не могу точно сказать, но сам Плеве не отвергал этого ни при первом моем визите к нему, ни при той размолвке, которая вскоре произошла между нами.

Я думаю, однако, что решающее значение в моем назначении имел все-таки граф Сольский, который пользовался уважением государя и считался наиболее компетентным в финансовых вопросах, отношение же его ко мне было с давних пор самое сердечное. По крайней мере, когда я приехал к нему первому, чтобы сказать о моем назначении, и выразил ему, что не сомневаюсь в том, что его поддержка моей кандидатуры имела решающее значение, – он отвергал, конечно, свое влияние, но сказал, не обинуясь, что государь спрашивал его мнение, и он сказал только по совести, как смотрит на меня, и считает, что уже в ту минуту решение государя состоялось, и государь только проверял разговором с ним, как и с другими, правильность его, не давая никому возможности заблаговременно узнать его решение.

Плеве, принимая меня непосредственно после моего визита к Сольскому, на замечание мое, что мне известно его посещение Зимнего дворца накануне моего вызова и что я полагаю, что он склонил окончательно государя остановиться на мне, – не только не отвергал этого, но даже сказал прямо, что он не мог по совести не возражать против мнения государственного

контролера о назначении его товарища Философова, считая последнего, при всех его способностях, совершенно неподготовленным для такой ответственной минуты и не имеющим никакого авторитета среди министров. Помню хорошо его слова по этому поводу: «Конечно, если бы назначение министра финансов зависело от плебисцита среди господ министров, то они подали бы голос за кого угодно, кроме как за вас. Я хорошо помню, как в бытность вашу товарищем министра у Витте они терпеть не могли участвовать в заседаниях Департамента экономики при вашем участии и предпочитали иметь дело с Витте, который разозлится в начале, а потом уступит в конце, когда ему скажут несколько льстивых слов».

Встреча моя с Витте в тот же день имела совершенно особенный характер. Объятиям и поцелуям не было конца. Излияния в дружбе, преданности и самой высокой оценке моих знаний, характера, твердости убеждений, моей прямоты лились рекою, приправленные уверениями в том, что я могу во всем рассчитывать на его поддержку, не только в Комитете министров и в Финансовом комитете, но решительно везде, где только я желаю, чтобы его голос был услышан в моих интересах. «Вот видите, – сказал он, – нужна была война с Японией, чтобы посадили в министры финансов единственного настоящего человека, а без этого брали людей не по тому, чего они стоят, а потому, что у них приятные формы и готовность быть приятными наверху». («Пройдет война – и вас спихнут так же, как спихнули меня, а то, что вы сделаете, сейчас же забудется, и вас не будут даже вспоминать».)

Моею явкой к государю и императрице в среду 4 февраля и посещением в тот же день графа Сольского, Плеве и Витте окончилась вся так называемая церемониальная часть, и уже вечером того же дня, не дожидаясь опубликования указа о моем назначении, я пригласил к себе товарища министра финансов Романова, директора Кредитной канцелярии Малешевского, его вице-директора Вышнеградского и управляющего Государственным банком Тимашева и предложил им обсудить тут же возникшее у меня предложение о том, какого направления следует нам держаться в вопросе о способах покрытия расходов войны.

Я просил припомнить наше недавнее время совместной службы, во время которого, даже и на должности товарища министра финансов, я никогда не стеснялся никого высказывать открыто свое мнение, всегда относился к нему с полным уважением и просил особенно следовать этому правилу теперь, так как мне пришлось взять в мои руки ответственное дело в чрезвычайных трудных условиях. Я должен сказать, что это первое соприкосновение мое с моими сотрудниками по Министерству финансов оставило во мне самое отрадное впечатление.

Оно не изменилось ни на один день за все десять лет нашей совместной работы и дало мне возможность выполнить мой долг сравнительно легко, несмотря на то что условия нашей общей работы не всегда были легкие. Никто из них не уклонился открыто и с сознанием важности минуты высказать свое мнение, и наше первое совещание, длившееся почти три часа, привело нас всех к единогласному решению, которое мне было тем легче выполнить потом, что оно встретило такое же единогласное одобрение как во всем Финансовом комитете, так и среди членов Государственного совета по Департаменту экономии, близко соприкасавшихся с вопросами нашего денежного обращения, – несмотря на весьма существенные разногласия между ними по другим частям нашей финансовой администрации.

Я изложил моим новым сотрудникам, что то, что я намерен предложить на их суд, созрело у меня не сегодня, под влиянием последовавшего неожиданно для меня назначения на должность управляющего Министерством финансов. Еще с первого дня, как мы оказались в войне с Японией, следя за нашею, а также и французскою печатью и прислушиваясь ко всем суждениям, которые доходили до меня, в особенности среди членов Государственного совета, – я слышал одно и то же суждение, неизменно повторявшееся всеми, кто высказал свое мнение о характере нашего вооруженного столкновения.

А именно, что война для нас неопасна, что наши силы несоизмеримы с силами Японии, хотя бы она была больше нас готова к войне, так как мы к ней не готовились, что наше внутрен-

нее положение совершенно устойчиво и не может быть потрясено начавшейся войною, слишком удаленною от наших центров. Словом, что мы вынесем сравнительно легко это бедствие и завершим столкновение победным концом. Это же мнение разделяется и государем, определенно высказавшим мне его.

Если же это так, то очевидно, что в выборе способов относительно покрытия расходов войны, или, другими словами, в нашем решении относительно нашей финансовой политики на время ведения войны мы должны руководствоваться тем принципом, чтобы не нарушить основных устоев нашего финансового положения, введенных нами с таким огромным трудом и после длительных приготовлений!

Другими словами, мне казалось, что мы не должны отказываться от нашего денежного обращения, основанного на золотом размене бумажного рубля по закону 1897 года, и принять соответствующие этому принципу меры, то есть подкреплять наш золотой запас всеми доступными способами, не разрушая нашего строгого эмиссионного закона. Я не привожу здесь тех доводов, которыми я оправдывал мой взгляд, но придавал исключительное среди них значение тому, что, только в этом случае, мы сохраним устойчивость нашего финансового положения на мировом рынке, устраним колебания наших фондов на этом рынке и быстро исправим все невзгоды войны, тогда как, прекратив наш золотой размен, мы легко можем вовсе не вернуться к нему в течение длинного промежутка времени.

Я встретил среди моих сотрудников полнейшую солидарность. Не поднялось ни одного голоса против такого принципиального взгляда, и целый ряд соображений практического свойства высказан был участниками совещания относительно способов и порядка проведения их в жизнь. Даже наиболее осторожный из всех и, пожалуй, лучше всех нас знавший Японию – П. М. Романов не поднял своего голоса против нашего общего заключения и только настаивал на одном: чтобы во всей Сибири, начиная от Урала, и по всей Маньчжурии мы решительно отказались от фактического выпуска золота из казначейств, ввиду близости Китая и легкости ухода золота туда, и производили все расплаты исключительно бумажным рублем. Так и было принято, и никаких затруднений в этом отношении не произошло во все время ведения нами войны, до самого начала революционного движения во второй половине 1905 года.

В тот же вечер мы условились о составлении подробно мотивированного представления в Финансовый комитет, которое было в течение самого короткого времени прекрасно выполнено начальником отделения Никифоровым и внесено мною на рассмотрение комитета. С его содержанием я тотчас же ознакомил графа Сольского и Витте. Оба они отнеслись к нему с нескрываемым сочувствием, и весь комитет проявил полнейшую солидарность, предоставив мне принять те меры, которые вытекали из принятого решения.

Сущность этих мер была совершенно очевидна и распадалась на две части: на изыскание способов заключить внешние займы, подкрепляющие наш золотой запас и, следовательно, увеличивающие наше право на выпуск бумажных рублей, и извлечение излишних бумажных денег из внутреннего обращения путем заключения внутренних займов, выручка которых обращалась бы на покрытие военных расходов.

В этой мере заключался, так сказать, первый пункт русской финансовой программы по ведению войны.

Если подсчитать, какую сумму получила Россия от этих кредитных операций военного времени, внешних и внутренних, и присоединить к ней обращенные на ту же надобность бюджетные остатки от сокращения государственной росписи на 1904 год и выручку от ликвидационного займа 1906 года, заключенного во Франции в апреле этого года, то и получится тот общий итог расходов на ведение войны с Японией, в сумме двух с четвертью миллиардов рублей, который и был покрыт путем осуществления этого первого пункта финансовой политики военного времени.

Вторым основанием, усвоенным мною и проведенным в жизнь, было соблюдение всеми доступными мерами нашего бюджетного равновесия, то есть сокращение внутренних расходов за время войны до соответствия их действительному поступлению доходов. Новые налоги были введены в самом ничтожном размере.

Первые полтора года войны дали в отношении поступления доходов вполне благоприятные результаты.

До начала революционного движения 1905 года поступление их было вполне нормальное и давало даже превышение, против сметных ожиданий; от населения поступило больше денег, и часть их вернулась через приходные кассы. Только со второй половины того же года начались затруднения в этом отношении, но они относятся уже к причинам иного порядка, и их нельзя относить к обстоятельствам военного времени.

В расходной части вне военного бюджета мое положение было облегчено поддержкою, оказанною мне государем, и в этой области я не испытывал сколько-нибудь ощутительных затруднений.

Вспоминая потом пережитое мною время военной невзгоды, я должен сказать, что по сравнению с последующими годами, когда не было внешнего осложнения, мое личное положение было сравнительно более легким, нежели после окончания войны.

Как это ни странно, но это первое время моей работы среди условий военного времени было, пожалуй, самое легкое и даже приятное из всего десятилетия моей работы на посту министра финансов.

Меня поддерживали решительно все. Финансовый комитет принял мой проект сохранения золотого обращения и мер, направленных к этой цели, не только без всяких возражений, но составил свое заключение в таких лестных для меня выражениях, что резолюция государя дала мне глубокое удовлетворение.

Он написал: «Дай Бог вам сил выполнить этот прекрасный план, который поможет нам выйти с честью из тяжелой войны и довести ее до победного конца».

Но и мое представление, и журналы Финансового комитета, которые я хранил долгие годы, погибли с теми немногими бумагами, которые я хранил у себя до самой минуты моего ареста и обыска в моей квартире 30 июня 1918 года. Что стало с ними потом – я не знаю. Большевики этого доклада тоже не напечатали. Очевидно, он был не выгоден для их целей, – развенчивать все, что было в прошлом, – а может быть, он просто погиб в делах Кредитной канцелярии, когда начался разгром всего после Октябрьской революции.

Со стороны всех без исключения министров я видел одну готовность помогать мне, и отступление от этого исключительного отношения ко мне появилось с той стороны, с которой я его всего менее ждал.

Столь же удачны были и первые мои действия по изысканию средств на ведение войны.

Никто не знал, конечно, сколько времени продолжится война и каких жертв она потребует. Не было, да и не могло быть составлено общего плана, и было ясно только одно, – что средств потребуется много, что сокращать требования кредитов на ведение военных действий из Петербурга не будет никакой возможности и нужно готовить средства как дома, так и за границей.

Дома – для того, чтобы не слишком обременять себя иностранными финансовыми операциями и не вызывать нареканий на то, что мы не трогаем внутреннего кредита; за границей – для того, чтобы обеспечить себя беспрепятственным покрытием наших долговых обязательств без уменьшения полученного мною от моего предшественника золотого запаса и усилить последний за границую.

Я начал с заграничного займа.

Париж верил в нашу победу над Японией, и мое обращение к французскому рынку было встречено чрезвычайно сочувственно. В какие-нибудь две недели без особых с моей стороны

усилий мне удалось заключить пятипроцентный заем в 300 000 000 рублей или 800 000 000 франков в форме краткосрочных обязательств, подлежащих выкупу по истечении пяти лет, то есть в 1909 году, причем группой заключивших этот заем банков было выдано полуофициальное обязательство совершить на том же рынке к сроку погашения займа новый заем для консолидации этого займа. Успех займа превзошел все наши ожидания, и все приветствовали меня с таким успехом.

Должен сказать по совести, что моих заслуг в этом никаких не было, а результат займа зависел только от того, что все верили во Франции, что мы быстро справимся с нашим противником.

Тем глубже было потом разочарование, и тем труднее пришлось мне потом.

Внутренние займы прошли также вполне гладко, и в течение первого года я не испытывал никаких затруднений к покрытию всех военных расходов, а последние были велики и испрашивались самым бестолковым образом. Порядок разрешения военных расходов в то время был весьма простой и не вызывал ни сложных предварительных манипуляций, ни больших прений в Особом совещании под председательством председателя Департамента государственной экономики графа Сольского, авторитет которого среди министров, входивших в состав совещания, стоял необычайно высоко и облегчал мою задачу до последней степени.

Не проходило ни одного заседания, чтобы все министры, не исключая и генерал-адъютанта Сахарова, заменившего генерала Куропаткина, назначенного главнокомандующим, не убеждались воочию, что кредиты требуются без всякого обоснования, а иногда и просто вопреки здравому смыслу, но приходилось отпускать их беспрекословно, принимая меры только к тому, чтобы их не расходовали при изменении к худшему военных обстоятельств.

Я думаю, что если бы удалось разыскать теперь журналы заседаний Особого совещания, то едва ли нашлось бы среди них много таких, в которых министр финансов не заявлял бы о явной несообразности предъявленных требований, но, после критики их и в ответ на настояния военного министра, не заявлял, что он согласен на отпуск средств, дабы не давать главнокомандующему повода заявить, что неуспех военных операций зависит от недостаточного отпуска денежных средств.

Из этой области моя память удерживает в особенности один характерный случай.

Перед тем как наша армия, потерпевшая поражение под Ляояном, начала отступать к северу, главнокомандующий генерал Куропаткин настаивал перед Особым совещанием, разумеется по телеграфу, о необходимости начать постройку ответвления от Китайско-Восточной дороги, к юго-востоку, чтобы вести наступление по двум направлениям – одному прямо с севера на юг, вдоль главной линии, другому в обход правого фланга японцев.

Деньги, конечно, были отпущены, но к расходованию их не было даже и приступлено, так как началось наше быстрое отступление от Ляояна, и начальный пункт главной дороги, от которого предполагалось вести боковую линию, оказался в руках нашего противника. При следующем очередном отпуске кредитов я предложил принять эту оставшуюся неизрасходованную сумму к зачету в счет новых кредитов, и мое предложение казалось таким простым и естественным, что никто против него не сделал ни малейшего возражения, и даже государственный контролер Лобко, всегда поддерживавший все требования главнокомандующего, более энергично, нежели даже военный министр Сахаров, допускавший иногда критику весьма поверхностных требований с места, – нашел такую меру вполне логичною.

Решение совещания немедленно было сообщено главнокомандующему по телеграфу. Каково же было удивление всего совещания, когда от главнокомандующего был тотчас же получен по телеграфу протест против решения совещания и требование немедленно ассигновать новый кредит, так как он ожидает скорое наступление, при котором к постройке дороги будет, несомненно, приступлено, и кредит потребуется по его прямому назначению.

Даже мягкий по своему характеру и всегда искавший примирительного решения граф Сольский предложил ответить главнокомандующему, что нельзя хранить деньги по отдельным мешочкам и следует испрашивать кредит тогда, когда имеется возможность израсходовать и с пользой для дела, и предложил сначала взять неизрасходованные суммы на то, на что они нужны, а уже потом просить полномочий на производство новых расходов, когда обстоятельства будут отвечать новым потребностям.

Помнится мне и другой характерный для главнокомандующего генерала Куропаткина случай. Это было всего несколько дней спустя после моего назначения. Я жил еще на Литейной в квартире государственного секретаря, так как квартира министра финансов была еще в полном беспорядке.

Генерал Куропаткин только что получил назначение. Печать встретила его назначение с величайшим восторгом. Сам он был полон радужных надежд и говорил открыто, что ему нужно только время собрать армию, а в победе над «макаками» не может быть сомнения.

В один из первых дней после своего назначения он приехал ко мне на Литейную и сказал, что хочет переговорить начистоту по личному вопросу и просит меня дать указание моим представителям в подготовительной комиссии для внесения дел в Особое совещание, чтобы они не резали кредитов и не ставили его в смешное положение – отстаивать в совещании кредит, касающийся его личного положения.

Не зная, о чем идет, собственно говоря, речь, я просил его сказать мне, в чем именно проявляют представители министерства ненужную скупость. Он объяснил мне, что накануне в комиссии рассматривался вопрос о размере содержания его как главнокомандующего. Военное министерство полагает по примеру того, что было назначено в 1878 году главнокомандующему в Турецкую войну на европейском фронте, великому князю Николаю Николаевичу Старшему, определить новому главнокомандующему содержание в размере 100 000 рублей в месяц и, кроме того, выдавать ему фуражные деньги на 12 верховых и на 18 подъемных лошадей.

Представители же Министерства финансов предлагали назначить личное содержание по 50 000 рублей в месяц, так как у генерала Куропаткина не может быть тех расходов на представительство, которые нес великий князь, а против выдачи фуражных денег возражали вообще, заявляя, что едва ли придется пользоваться лошадьми, так как следует полагать, что военные действия будут сосредоточены на линии железной дороги, и главнокомандующему, если и предстоит отлучаться в сторону, то не на такое продолжительное время, чтобы можно было иметь постоянных верховых, а тем более вьючных лошадей.

Долго мы говорили на эту тему, я старался всячески доказывать, что для личного положения генерала важно показать всем его окружающим умеренность в окладе содержания, так как по его содержанию будут определяться оклады и других военачальников, и в особенности просил его не настаивать на таком большом количестве лошадей для его личного пользования, так как их в действительности или вовсе не будет, или число их будет значительно меньше, а выводить в расход «фуражные» на несуществующих лошадях тоже нехорошо, так как это будет служить только соблазном для его же подчиненных.

Мои аргументы не привели к цели, генерал продолжал настаивать и заявил, что внесет свою точку зрения в Особое совещание, что он на самом деле и сделал, и совещание решило вопрос согласно его желанию. Так и получал он все время эти спорные «фуражные», не имея на самом деле ни одной подъемной лошади и всего одну верховую, поднесенную ему, кажется, Москвою при его назначении. Жил же он все время в поездах Китайско-Восточной железной дороги и не отходя вовсе от линии этой дороги.

Но всего характернее при этом была последняя часть нашей первой беседы.

Когда мы исчерпали предмет нашего спора, и каждый остался при своем мнении, генерал Куропаткин стал меня просить вообще поддержать его в трудном положении, говоря, что со своим отъездом вдаль он остается без всякой поддержки, а между тем чувствует, что может

в ней очень нуждаться, в особенности в первое время своего вынужденного отступления и тяжелого подготовительного периода.

При этом он взял с моего стола лист чистой бумаги, провел на нем горизонтальную черту и в левом углу поставил довольно высоко над чертою звездочку, прося, чтобы я следил за его изображением.

«Вот, – говорил он, – эта звездочка над горизонтом – это я в данную минуту. Меня носят на руках, подводят мне боевых коней, подносят всякие дары, говорят приветственные речи, считают чуть ли не спасителем Отечества, и так будет продолжаться и дальше до самого моего прибытия к войскам, моя звезда будет все возвышаться и возвышаться.

А когда я приеду на место и отдам приказ отходить к северу и стану стягивать силы, поджидая подхода войск из России, те же газеты, которые меня славословят, станут недоумевать, почему же я не бью «макак», и я начну все понижаться и понижаться в оценке, а потом, когда меня станут постигать небольшие, неизбежные неудачи, моя звезда станет все ниже и ниже спускаться к горизонту и затем пойдет совсем за горизонтальную черту. Вот тут-то вы меня и поддержите, потому, что тут я начну переходить в наступление, стану нещадно бить японцев, моя звезда снова перейдет за горизонт, пойдет все выше и выше, и где и чем я кончу – этого я и сам не знаю. Вашей поддержки я никогда не забуду».

Этот рисунок долго сохранялся у меня и пропал вместе со всеми моими бумагами, когда нам пришлось покинуть наш дом и родину. Не дожил бедный Куропаткин до восхождения его звезды, а за горизонт он успел сойти, пережил всеобщее забвение, когда последствия Японской войны быстро загладились, дожил и до Великой войны⁴, сначала долго был не у дел, затем, в самый последний, бесславный период получил назначение, не успел, да, вероятно, и не мог ничего сделать, участвовал в каких-то военных операциях в Туркестане уже во время большевизма и умер в нищете в деревне, близ своей усадьбы в Псковской губернии, занимая должность волостного писаря.

В первые же дни после моего назначения министром финансов ко мне приехал адмирал Абаза, с которым мне пришлось вскоре ближе познакомиться до другому поводу, о чем речь впереди, и заявил, что имеет повеление государя переговорить со мною о ликвидации лесопромышленного предприятия на Ялу. Я слышал о нем только мельком, решительно ничего не знал ни о его организации, ни о том, кто участвует в нем, чьи деньги вложены в него, и ограничился в эту первую беседу тем, что просто слушал адмирала и не дал ему никакого положительного ответа, пока сам не буду в курсе этого предприятия.

Доклад мне адмирала Абазы носил какой-то детский сумбурный характер, в котором было просто трудно разобраться. Видно было только, что при несомненности нашей победы над Японией нельзя расстраивать этого «великого» предприятия и нужно только «свернуть» его временно, до возможности дать ему окончательное развитие, когда мы «твердо станем на Ялу, по окончании войны», вывезти вглубь Сибири то, что свезено туда, найти подходящую работу всем, кого мы поставили на это дело, и принять пока на средства казны то, что частные лица затратили на это дело, «следуя желаниям государя».

Я не получил даже ответа на вопрос о том, сколько же на это потребуется и кто эти частные лица, которые вложили свои средства в дело. Мне было сказано в ответ: «Мы подсчитаем, но, вероятно, несколько тысяч рублей будет достаточно на первое время, а потом все вернется из огромных прибылей операции».

Я обещал испросить указаний государя после того, как сам соберу сведения и подготовлюсь к неожиданному для меня вопросу. Я стал изучать дело. В Департаменте казначейства я не нашел никаких следов, и начальник бухгалтерского отделения Дементьев сказал мне только,

⁴ Первая мировая война.

что было предположение выдать какую-то сумму из десятиmillionного фонда, но потом от этой мысли отказались, и выдач никаких из казны произведено не было.

По Государственному банку мне было показано только распоряжение управляющего министерством Романова, с ссылкой на высочайшее повеление о выдачи ссуды в 200 000 рублей статс-секретарю Безобразову, «на известное его величеству назначение», но потом это распоряжение было также отменено, ссуда выдана не была, и было сведение даже о том, что выдача была произведена из особого фонда Кредитной канцелярии, то есть из прибылей иностранного ее отделения.

Но и этому я также не нашел никакого следа. Я обратился к статс-секретарю Витте и просил его сказать мне, что ему известно, и получил от него целый рассказ о том, как он боролся против концессии, как убеждал он государя не допускать этой, по его словам, «авантюры», как убежден он, что наша политика в Корее, занятие Порт-Артура с постройкою южной ветки Китайско-Восточной железной дороги и, наконец, концессия на Ялу и были истинною причиною войны с Японией. Он советовал мне не входить вовсе в это дело и придумать какой-либо способ передать его кому-либо вне Министерства финансов, чтобы меня не запутали в него, «так как, – прибавил он, – деньги вы все равно запретите, но лучше пусть делает это кто-либо другой, а не вы».

Витте припомнил мне при этом, как в бытность мою у него товарищем министра, он говорил мне о разногласиях его с бывшим министром иностранных дел графом Муравьевым по вопросу о занятии нами Порт-Артура, как его «топил» при этом Куропаткин и поддержал только Тыртов и как государь решил вопрос против него и морского министра.

Я, в свою очередь, припомнил ему, как в ту пору я говорил ему, что ему следовало тогда довести дело до конца и просить государя уволить его с должности министра, и как он тогда ответил мне, что министры не имеют права ставить государя в трудное положение, разве что они могут своею отставкою предотвратить большую беду. После этого моего посещения Витте меня навел на еще [один] мой лицейский товарищ В. М. Вонлярлярский, прося о том же, о чем говорил мне и адмирал Абаза, и тут я впервые узнал, что и он участник дела на Ялу и вложил в него свои, по его словам, значительные средства, и принимает даже в нем самое активное участие по его близким отношениям к своему бывшему однополчанину по Кавалергардскому полку, статс-секретарю А. М. Безобразову, «этому гениальному человеку», как прибавил он. Он советовал мне непременно познакомиться с ним поближе при первой возможности.

Этому совету мне не привелось последовать, и я увидел впервые и всего один раз гораздо позже А. М. Безобразова, уже во вторую половину войны, когда он изобрел особый метательный диск, который должен был произвести полный переворот в артиллерийском деле. Он приглашал меня даже присутствовать на опытах его изобретения, но время мне не позволило, и с тех пор я его нигде не встречал, как не имел с ним никаких переговоров по делу о Ялу.

Ни разу не встретился с ним и в эмиграции, хотя он проживал последние годы своей жизни в Париже и умер в полной нищете в 1931 году.

Я не могу по совести сказать, был ли он душою этого несчастного дела или пристегнулся к нему случайно, в силу своих личных отношений к другим участникам этого предприятия.

От Вонлярлярского я узнал также, но тоже как-то вскользь и скороговоркою, что государь дал некоторую сумму денег из своих личных средств на концессию на Ялу, что дал их и великий князь Александр Михайлович, также как граф Алексей Павлович Ипатьев, но сколько именно было дано каждым из упомянутых лиц, – мне осталось совершенно неизвестно, как не было мне суждено вообще ближе подойти к этому делу, и оно как-то сошло на нет совершенно помимо меня.

Уже много лет спустя, в Париже, в беженстве, в 1926 году, Вонлярлярский предложил было мне ознакомиться с его подробною запискою по этому делу, в связи со всею нашею даль-

невосточную политикою, но потом на другой день взял у меня эту записку назад, обещал мне прислать снова ее, но так и не прислал.

На ближайшем моем всеподданнейшем докладе, после визита ко мне адмирала Абазы, государь сам не заговорил со мною по этому вопросу, и мне пришлось начать самому доклад мой о посещении Абазы. Я воспользовался крайнею неясностью для меня всего дела и высказал совершенно открыто, что мне, поглощенному заботами о войне и о сохранении нашего финансового положения, крайне трудно отдать достаточно времени на изучение дела и на его ликвидацию. Я высказал государю, что был бы крайне благодарен, если бы он нашел возможным поручить разработку всего вопроса о ликвидации кому-либо менее занятому, нежели я, а мне предоставил бы потом, уже после составления плана ликвидации, высказать мое мнение и принять меры к тому, чтобы расходы на этот предмет были сколь возможно скромны.

Государь чрезвычайно охотно и милостиво принял мое предложение и сказал даже в самом шутиливом тоне, что это очень хороший исход, так как никто не будет жаловаться на мою скупость, да и сам я буду более свободен критиковать чужую работу, нежели быть и расходчиком и казначеем.

На другой день государь прислал мне записку, что поручает это дело графу Игнатьеву, а меня просит помочь ему. Граф Игнатьев тотчас же собрал у себя небольшое совещание, на котором присутствовал и я, но всего один раз. Кроме меня был еще, в качестве представителя Государственного контроля, В. П. Череванский, но затем как-то незаметно сам граф Игнатьев совершенно стушевался и испросил разрешения государя передать все дело Череванскому, который и закончил его довольно быстро и совершенно спокойно, с затратою из казны сравнительно небольшой суммы. Я не припоминаю теперь в точности, во что именно обошлась эта ликвидация, и можно только пожалеть, что большевики, опустошающие государственные архивы и предающие гласности все, что служит к посрамлению, по их мнению, прошлого, до сих пор не предали гласности этого печального эпизода нашего недавнего прошлого.

Первое время моего управления Министерством финансов самая напряженная работа, кроме изыскания средств на войну и поддержания нашего кредита, ушла у меня на приспособление Китайской железной дороги к неожиданным потребностям военного времени и спешным массовым перевозкам войск, в этой работе я нашел огромное нравственное удовлетворение, которое и было главною причиною того горячего участия, которое я принял в судьбе этого, поистине грандиозного, предприятия.

Об этой работе я хочу рассказать в моих воспоминаниях несколько подробнее, хотя бы для того, чтобы отдать особую дань уважения тем, кто работал на этом деле и заслужил, по всей справедливости, благодарную память не с моей одной стороны.

Китайская дорога была официально окончена постройкою и сдана в эксплуатацию в июне 1903 года, еще при Витте. Но фактически она была далеко не кончена и одни так называемые недоделы, то есть работы, неисполненные к моменту передачи дороги в эксплуатацию, составляли сумму свыше 40 миллионов рублей. Одна эта цифра достаточно красноречиво говорит о том, что дорога не только не была готова к усиленной работе, но даже и ее ограниченное рабочее задание, рассчитанное на скромное движение поездов на первое время, не было обеспечено фактическою готовностью дороги.

С июля 1903 года и до января 1904 года постройка дороги эксплуатационным управлением подвигалась энергично вперед, тем не менее к началу войны по ней могли ходить едва четыре пары поездов, считая в числе их и так называемое рабочее движение, которое не могло не быть сравнительно значительным, если только принять во внимание, что на исполнение «недоделов» требовалось немалое количество вагонов и поездов.

Неудивительно поэтому, что тотчас после неожиданного начала военных действий, — кстати, начатых Японией в самое невыгодное для нас время, когда Амур замерз и не мог служить способом передвижения грузов и войск, а дорога едва начинала свою жизнь, на усиление

пропускной и провозной способности дороги было сразу же обращено самое большое внимание.

Как водится у нас, забота об этом приняла довольно своеобразное направление. Два ведомства – военное и путей сообщения – одновременно возбудили вопрос об изъятии дороги из рук Министерства финансов и передаче ее либо одному, либо другому ведомству. Мне сразу же пришлось принять непримиримое положение и возражать против такого непрактического и незаконного предложения.

Непрактического – потому, что ни то ни другое из этих ведомств не были подготовлены к такой передаче и не знали решительно ничего о дороге. Незаконного – потому, что по договору с Китаем дорога принадлежала компетенции ведомства финансов, и всякая передача, куда бы то ни было, противоречила и ее уставу, и заключенному с Китаем договору.

В медовый месяц моего управления Министерством финансов и при несомненном благоволении ко мне государя – мне удалось сравнительно легко отбить эту первую атаку и предложить выработанный правлением дороги план ускорения работ по приспособлению дороги к массовым перевозкам, который я считал возможным гарантировать точным исполнением, если только мне не будут мешать и дадут моим сотрудникам на месте необходимую свободу действий.

Министерство путей сообщения охотно взяло свое предположение назад, признав мои соображения и правильными, и практическими. Зато Военное министерство решительно возражало, требуя себе управление дорогою, и, ввиду особых настояний генерала Куропаткина, пришлось пойти на компромиссное решение – на принятие моего плана к временному исполнению, с тем чтобы на место был спешно командирован генерал Петров, как большой авторитет по всем вопросам железнодорожного строительства, проверил этот план на месте и высказал свое заключение по основному вопросу – о том, кому ведать дорогою.

Генерал Петров выехал с твердым намерением поддержать мою точку зрения и после первых же дней своего пребывания на линии телеграфировал государю, военному министру и мне, что единственная возможность обеспечить порядок на дороге, достигнуть усиления ее в техническом отношении и обеспечить подвоз войск и грузов заключается в оставлении дороги в руках Министерства финансов, в предоставлении ему полной свободы действий и в возложении на него же ответственности за исполнение строительного плана в те сроки, которые будут для того назначены.

Государь потребовал совместного доклада моего и военного министра, сказал нам сразу, что одобряет взгляд генерала Петрова, и спросил мнение каждого из нас. Военный министр Сахаров не возражал, я же просил только, чтобы требования, предъявляемые к дороге как в отношении усиления ее провозной способности, так и сроков для исполнения работ, были установлены по соглашению с управлением дорогою и при участии генерала Петрова, и таким образом этому трудному делу было положено твердое основание, которое впоследствии не раз послужило на его пользу.

Как справилось Министерство финансов с этою задачею, несмотря на всевозможные трудности, проистекавшие не столько из сложной обстановки военного времени и работы на театре военных действий, сколько из обычных ведомственных трений и интриг, – об этом можно бы написать целую книгу, но в этом нет теперь даже и исторической пользы.

Одно, что можно сказать по этому поводу, – это то, что через пять месяцев дорога перешла с 4-поездного графика на 8-поездной, через восемь месяцев – на 14-поездной, а в октябре 1905 года по ней ходила уже 21 пара поездов, то есть максимум того, что допускает однопутная дорога. Незадолго до своего смещения с должности главнокомандующего генерал Куропаткин, считавший себя выдающимся знатоком железнодорожного дела, требовал, однако, для обеспечения победы над Японией довести дорогу до 48 пар поездов, и тогда тот же генерал Петров, при всей своей сдержанности, написал государю, что предъявить такое требо-

вание к дороге в один путь возможно только, не давая себе отчета в том, что во всем мире не было еще случая, чтобы однопутная дорога могла пропустить более 20 пар поездов.

Впрочем, справедливость требует сказать, что до самого моего выхода с активной работы, уже после заключения Портсмутского договора, генерал Куропаткин не перестал поддерживать Китайскую дорогу, а когда летом 1905 года появился отчет князя Львова, как уполномоченного земской организации по оказанию помощи раненым, с целым рядом инсинуаций на дорогу, подхваченных оппозиционной печатью, Куропаткин прислал телеграмму, не только опровергавшую помещенные в отчете сведения, но и открыто заявлявшую, что работа дороги и преданность своему долгу всех ее служащих, от управляющего до последнего составителя поездов, – выше всяких похвал, и нет достаточного поощрения, которое шло бы в уровень с оказанною дорогою помощью делу ведения военных операций.

Впоследствии, уже после моего вторичного вступления в управление Министерством финансов, когда мне пришлось сблизиться с японским послом бароном Мотоно, я не раз слышал от него, что в Японии работа Китайской дороги за время войны всегда приводится в пример, как доказательство небывалых успехов, которые были достигнуты в технике перевозок при таких исключительных условиях.

А затем, еще позже, уже перед самым моим увольнением от должности председателя Совета и министра финансов, я представил составленную правлением Китайской дороги работу о том, что и как было сделано дорогою во время войны, какие трения встречала она на своем пути и чего следовало бы избежать в будущем в случае военных столкновений, если мы не желаем встретиться в железнодорожном транспорте с величайшими затруднениями, которые могут привести к роковым последствиям.

Эта работа была представлена мною государю с просьбою разрешить мне разослать ее для сведения во все министерства и сделать ее доступною членам Государственного совета и Думы. Разрешение было мне дано, но я уверен, что никто этой работы не прочитал, так как очень многое из пережитого во время Японской войны повторилось и в Великую войну, но не оставило следа в действительных событиях того времени.

Эта работа, как и все, что я сохранил после моего ухода, конечно, пропала и никогда не увидит божьего света, и мне крайне обидно, что я лишен возможности привести здесь хоть несколько наиболее характерных штрихов из жизни Китайской дороги за 1904–1905 годы.

До половины апреля моя работа, сложная и напряженная, протекала, как я уже сказал, в сравнительно спокойных условиях. На каждом шагу чувствовалось доверие ко мне государя, и окружающие не мешали мне ни в чем. Напротив того, я был окружен атмосферою какого-то небывалого согласия, и военные события отодвигали на задний план явления внутренней жизни и наши обычные разнокалиберные внутренние, незримые течения.

Первое нападение на меня и на мое ведомство появилось оттуда, откуда я его всего менее ждал в условиях переживаемой поры, – от Министерства внутренних дел.

За одним из очередных заседаний Комитета министров ко мне подошел В. К. Плеве и сказал, что ему хотелось бы переговорить со мною по одному вопросу, который озабочивает его. Я предложил приехать к нему, и на другой день был у него.

Начав, по обыкновению, издалека, Плеве передал мне, что революционное движение начинает усиливаться, движение среди рабочих принимает грозное направление и ему приходится думать о принятии решительных мер, которые должны коснуться, между прочим, и некоторого перераспределения функций между министерствами внутренних дел и финансов.

Он находил, что фабричная инспекция действует крайне односторонне, поддерживая исключительно интересы рабочих против интересов хозяев, и вовсе не следит за настроением рабочих, совершенно не зная того, что происходит в их среде, какие подпольные влияния разъедают эту среду, и не оказывает никакой помощи органам жандармского надзора.

У Плеве созрела поэтому мысль о том, что фабричную инспекцию следует передать в заведование Министерства внутренних дел, по Департаменту полиции, и подчинить ее надзору жандармских полицейских управлений, что он докладывал уже об этом проекте государю, который отнесся вполне сочувственно к этой мысли, и он думал бы провести эту меру временно, через Комитет министров, как меру опытного характера, с тем чтобы после некоторого срока, например шестимесячного, внести ее на законодательное решение.

На такое направление дела государь, будто бы, также согласен и поручил ему переговорить со мною, будучи уверен в том, что я не стану возражать, так как у меня и без того слишком много дела, и он понимает, насколько много труда и хлопот дает мне фабричный вопрос. От себя Плеве прибавил, что он рассчитывает на мою дружбу и уверен, что я не поставлю его в трудное положение и не вызову разногласий в Комитете, так как в этом случае он неуверен в том, что все дело пройдет вполне гладко, а главное, что было бы крайне нежелательно заставлять государя принимать на себя решение по такому щекотливому вопросу.

Мне пришлось долго и упорно возражать Плеве и по существу, и в отношении порядка проведения этого дела. По существу, я старался доказать ему, что вовсе не дело фабричной инспекции следить за настроением рабочих и ставить о нем в известность жандармский надзор, что у нее нет на это никаких средств и способов, что ее дело – предупреждать столкновение интересов рабочих и нанимателей, следить за применением на практике фабрично-заводского законодательства, примирять неудовольствия в таком трудном и сложном деле, как заводское, и уметь приобрести доверие рабочих, которое одно в состоянии мирно улаживать возникающие конфликты.

Я напомнил министру внутренних дел хорошо известный ему случай военных забастовок в Московском районе, в 1898 году, когда я, в качестве товарища министра финансов, был командирован разбирать столкновения между жандармским надзором и фабричную инспекцию, причем выяснилась печальная картина этих столкновений и несправедливое и опасное обвинение инспекции жандармами, едва не имевшее крайне печальных последствий.

Подробно развивал я и совершенную для меня, как министра финансов, невозможность согласиться на передачу инспекции в руки жандармов, так как эта мера будет иметь самые губительные последствия для всей нашей промышленности, и я не могу взять на себя ответственность за такой результат и должен возражать всеми доступными мне способами, а не соглашаться на миролюбивое разрешение вопроса, за который на меня же падает вся тяжесть неизбежных последствий, и закончил мои возражения тем, что, ввиду одобрения такой меры государем, мне не остается ничего иного, как доложить мои возражения ему и просить его, во всяком случае, поручить министру внутренних дел внести такое предположение от своего имени в Государственный совет, а мне дать право, принадлежащее всякому министру, возражать против предположения другого министра, затрагивающего в корне интересы моего ведомства.

Мы расстались более чем холодно, причем Плеве, расставаясь со мною, произнес фразу, которая намекала на условия моего назначения два месяца тому назад.

«Я не думал, Владимир Николаевич, – сказал он – что, помогая вам стать во главе финансового ведомства, я должен буду скоро убедиться в вашей несговорчивости, о которой многие предостерегали меня, и что с вашей стороны я не встречу той помощи, на которую я так надеялся, постоянно поддерживая вас».

С этой минуты и до самых последних дней, предшествовавших его убийству, наши отношения почти порвались. Мы встречались еженедельно в Комитете министров, изредка в Государственном совете, но он ко мне более не подходил, ни о чем не заговаривал, и всем было ясно, что недавняя наша близость исчезла.

Вскоре, впрочем, наш конфликт сделался известен, так как Департамент полиции об этом не молчал, и я могу по совести сказать, что общее сочувствие было на моей стороне, не говоря

уже о Витте, который громко возмущался возникшему у В. К. Плеве проекту, хотя злые языки говорили, что он же обещал Плеве поддержать его в Комитете министров, если бы я согласился внести туда это предложение. Через неделю я представил государю письменный доклад, изложив в нем все наиболее существенные доводы против такой меры. На словах я развил их, и государь оставил доклад у себя, обещав мне спокойно и внимательно перечитать его и переговорить с министром внутренних дел.

Что было им сделано по этому поводу и как поступил окончательно Плеве, я не знаю, но ко мне мой доклад больше не возвращался. Плеве со мною более не разговаривал, в Комитет министров этого вопроса не вносил, а с его смертью этот вопрос канул в вечность и больше не возникал до самого моего ухода с должности министра финансов, в октябре 1905 года, когда следом за моим выходом Витте, уже пожалованный в графское достоинство, провел всеподданнейшим докладом образование Министерства торговли, в которое отошла и фабричная инспекция.

До половины лета 1904 года моя память не удерживает никаких событий, которые мне хотелось бы отметить. Мои доклады у государя носили чрезвычайно спокойный и крайне доверчивый ко мне характер.

Не проходило ни одного из них, чтобы государь, видя мои заботы об изыскании средств на войну и на охранение нашего кредита, не старался ободрять и успокаивать меня. Он неизменно говорил о несомненной нашей победе над нашим противником, который «вместе со своими союзниками заплатит нам все, что мы издержали», – это была его постоянная и любимая фраза, выражавшая твердую его веру в нашу победу, и эта вера не оставляла его и гораздо позже, когда уже было ясно, что нашим надеждам не суждено осуществиться.

Глава III

Разрешение конфликта с В. К. Плеве. – Убийство Плеве. – Легенда о бумагах, находившихся в портфеле Плеве в момент его убийства. – Новый министр внутренних дел князь П. Д. Святополк-Мирский и его связь с С. Ю. Витте. – Указ 12 декабря 1904 года. – Д. Ф. Трепов и рабочий вопрос. – Гапоновское движение. – Демонстрация 9 января 1905 года. – Мои возражения, сделанные государю по поводу проекта Трепова о личном воздействии государя на рабочих. – Прием государем делегации рабочих Петроградского района. – Неудавшаяся попытка обследования положения рабочих Петроградского района

В первой половине июля я находился однажды у себя в кабинете, на Мойке, и собирался уезжать на дачу, на Елагин остров.

Раздался телефонный звонок, и я услышал, к моему удивлению, голос Плеве, почти два месяца не входившего со мною ни в какое общение. Он сказал мне, что хотел бы повидаться со мною, так как есть надобность поговорить по одному личному вопросу, и спрашивает меня, когда может он приехать ко мне, не помешав в работе. Я ответил ему, что через несколько минут собираюсь ехать к себе на дачу и охотно заеду к нему на Аптекарский остров, если только не помешаю ему. Он поблагодарил меня и сказал, что будет ждать меня.

Как только я приехал, меня немедленно пригласили в кабинет; в приемной не было никого, и даже обычных дежурных чиновников я не встретил в помещении. Плеве вышел ко мне навстречу, наружно совершенно спокойно, и, как только я сел против него, протянул мне руку и сказал: «Вы сердитесь на меня за происшедшую между нами размолвку».

Я ответил ему, что мне сердиться не приходится, но мне очень грустно, что в результате нашего спора наши отношения совершенно порвались, что он едва отвечает мне на приветствия при встречах, и все видят, что между нами установились совсем необычные отношения. Я не чувствую за собою никакой вины перед ним и все жду, когда он поставит наше разногласие на суд Государственного совета, так как и теперь уверен в своей правоте.

Рассказал я ему, что я представил государю, как предупреждал его, мой доклад, после чего ни разу не возбуждал того же вопроса в личных беседах и не знаю, какая участь постигла этот доклад. «Этот доклад был у меня, – сказал мне Плеве, – и я его вернул его величеству, прося не давать ему пока никакого хода, а теперь я просто не хочу поднимать снова этот вопрос. Кто из нас прав – Бог знает, но в чем я не прав – это в том, что я переменял мои отношения к вам; и в чем я раскаиваюсь, и прошу вас забыть происшедшее, так как вы поступили совершенно открыто и на вашем месте и я, вероятно, поступил бы точно так же.

Но теперь не такое время, чтобы мы отходили друг от друга. Я вас всегда ставил очень высоко и теперь прошу вас дружески, забудьте то, что было, и станем по-прежнему относиться друг к другу, как было до этого случая. Бог знает, долго ли еще придется нам работать вместе. Вы многого не знаете, да и я, пожалуй, очень многого не знаю из того, что происходит кругом нас».

Это были его последние слова. Он обнял меня, крепко поцеловал, опять спросил, не сержусь ли я на него, и совершенно весело довел меня до передней и уже на пороге опять сказал: «Ну, значит, все по-старому».

Мы больше с Плеве не виделись. Через три дня, хорошо помню число – это было 14 июля, мы встретились на совещании под председательством государя в Александрии, по сокращению сметы чрезвычайных расходов на 1904 год.

Плеве решительно поддерживал меня против министра путей сообщения и даже государственного контролера в смысле необходимости сократить до самой скромной цифры все расходы на постройку новых железных дорог и на портовые работы. Совещание кончилось очень быстро, мы вышли вместе на подъезд, и так как нам долго не подавали экипажей, то все

стояли под дождем, и разговор шел самый непринужденный, причем Плеве все время трунил над генералом Лобко, уверяя его, что полиция доносит ему, что он слишком долго засиживается в Сельскохозяйственном клубе и задерживает наряд чинов полиции, охраняющий его.

Наутро, в 10-м часу, 15 июля его не стало. Его убила бомба Сазонова, в ту минуту, когда он был уже близок к Балтийскому вокзалу, направляясь в четверг со своим очередным всеподданнейшим докладом.

Подробности этого рокового события всем известны. Мне хочется только, к слову, рассеять одну, связанную с этим событием, легенду, пущенную в ход, думается мне, графом Витте, о том, что будто бы в портфеле своем Плеве вез всеподданнейший доклад о высылке за границу Витте ввиду имеющихся доказательств близкого участия его в революционном движении, особенно усилившемся в то время.

На самом деле ничего подобного не было. Портфель Плеве найден был в полной сохранности в карете и доставлен в министерство, где и был вскоре вскрыт, вместе со всем, что осталось в его столе, по повелению государя, генерал-адъютантом Гессе, при участии директора Департамента полиции Лопухина, сына покойного Н. В. Плеве и еще кого-то из Министерства внутренних дел.

В портфеле не было найдено ни одной строчки, посвященной графу Витте, а в письменном столе был найден короткий всеподданнейший доклад или, вернее, препроводительная записка, при которой государю были представлены две выписки из так называемой перлюстрации, то есть из вскрытой частной переписки, причем ни авторы писем, ни их адресаты не были указаны.

В одном из писем говорилось, что Витте состоит в самом тесном общении с русскими и заграничными революционными кругами и чуть ли не руководит ими, в другом же неизвестный корреспондент выражает своему адресату прямое удивление, каким образом правительство не знает об отношении человека, занимающего высший административный пост, к личности царя, проникнутого самой нескрываемой враждебностью и даже близкого к заведомым врагам существующего государственного строя, и терпит такое явное безобразие. Обе эти выписки, несомненно прочитанные государем, были им возвращены Плеве без всякой резолюции и с простым знаком, удостоверяющим факт их прочтения.

Затем, во всех рассмотренных бумагах не было найдено ни малейшего следа, указывающего на то, чтобы Плеве представлял государю какие бы то ни было данные, а тем более заключение о подпольной деятельности Витте или его интригах против государя.

Не подлежит, однако, никакому сомнению, что Плеве отлично знал, как отзывается Витте о государе, какие питает к нему чувства и насколько не стеснялся он входить в общение с несомненно враждебно настроенными к государю общественными кругами, но, вероятно, в его распоряжении не было неопровержимых доказательств его действий явно тенденциозного характера, так как нельзя допустить, что при этом известном враждебном отношении Плеве к Витте он не воспользовался своим влиятельным положением для того, чтобы обезвредить Витте или, по крайней мере, раскрыть государю глаза на него, тем более что он знал лучше всех, как велико было нерасположение и государя к Витте.

Преемником Плеве, как известно, был избран князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский – близкий Витте человек. Имел ли Витте какое-либо участие в выборе преемника Плеве – я не знаю, но хорошо помню, что, как только стало известно, на кого выпал жребий заменить убитого Плеве, Витте, находившийся в то лето безотлучно в Петербурге, тотчас же написал мне, что он радуется этому назначению и поздравляет меня с ним, так как я найду в князе Святополк-Мирском человека, не способного ни в чем затруднить моего положения.

Характер нового министра внутренних дел стал известен сразу по приему, оказанному им представителям виленской прессы, явившимся к нему поздравить его с высоким назначением и выразить ему сожаление по поводу оставления им управления Северо-Западным краем.

Сославшись на установившиеся между ним и печатью добрые отношения с первых дней вступления его в должность генерал-губернатора, князь Святополк-Мирский заявил, что лозунгом его деятельности должно быть откровенное доверие к общественным силам, что на те же силы он предполагает опираться и в своей новой деятельности ждет от них такого же ясного доверия и помощи, какое он готов проявить по отношению к ним, и не закрывает глаз на то, что правительство, не опиравшееся на общественные силы, будет всегда изолированно и слабо.

Петербургские салоны и бюрократические круги встретили это заявление недружелюбно. Начались, как всегда, пересуды.

Вспомнили так называемую «весну» и «диктатуру сердца» времени Лорис-Меликова, и можно безошибочно сказать, что если печать встретила это назначение дружелюбно, то в правительственных, придворных и бюрократических кругах вообще преобладало недоверчивое отношение и вскоре ироническое ожидание того, чем ознаменуется новый курс.

Отрицательное отношение к князю Святополк-Мирскому шло в особенности из самого Министерства внутренних дел, где его знали по прежней деятельности в Вильне, считали его человеком чрезвычайно слабым, частью в силу его плохого здоровья, не обладающим никаким административным опытом, безвольным, легко поддающимся под всевозможные влияния, нерешительным и совершенно непригодным на борьбу с оппозиционными силами, которые к тому времени стали заметно поднимать голову и вскоре перешли на всем известный путь открытой борьбы с правительством, незаметно перешедшей затем в вооруженное восстание половины 1905 года.

С. Ю. Витте, напротив того, открыто ликовал, встал на защиту нового министра, везде и всюду противопоставлял его покойному Плеве, как образец просвещенности, государственного ума и того нового типа представителя власти, которая должна сменить ушедший со сцены тип полицейского администратора, чуждого пониманию необходимости примирить власть с обществом и приготовить переход к новым приемам управления.

Из этого проявления отношения Витте к новому человеку и в особенности из того, в какие формы вылились их взаимные отношения, какое внимание оказывал он ему при первых его шагах в управлении министерством, какими льстивыми, подчас совершенно ненужными проявлениями покровительства в заседаниях Комитета министров окружал он его, петербургские правительственные круги, а за ними и придворные, очень быстро сделали свои специфические выводы, сразу же оказавшиеся крайне невыгодными для Святополк-Мирского.

«Ставленник» Витте, покорный слуга его велениям и т. д., все эти пересуды сделали то, что очень быстро ожидавшееся обаяние от личности нового министра сменилось недоверчивым к нему отношением, а когда стало известно, что не проходило дня, чтобы не было свиданий этих двух людей между собою и в Министерстве внутренних дел стали появляться наброски каких-то новых актов в духе «доверия к общественным силам», никто не придавал веры тому, что это дело рук министра внутренних дел, а все стали говорить в один голос, что фактическим министром является теперь не кто другой, как тот же С. Ю. Витте, хотя никто не знал хорошенько, в какую форму выльются новые веяния.

Разгадка наступила лишь 12 декабря, когда был опубликован указ, повелевавший рассмотреть в спешном порядке выработанные председателем Комитета министров основные положения о мерах к укреплению законности в государстве. При этом необходимо помнить, что в ту пору никакого объединения среди министров не было и каждое министерство представляло собою замкнутое, самодовлеющее целое, которое само ведало делами своего ведомства, внося в высшие установления – Государственный совет и Комитет министров – свои предположения по заключению лишь тех ведомств, которые затрагивались тем или иным предположением.

Никаких предварительных совещаний или обсуждений не было, за исключением случаев, когда между отдельными министрами существовали личные близкие отношения, которые и

использовались, главным образом, для того, чтобы провести ведомственную точку зрения или одолеть несговорчивого министра, возражавшего против той или другой меры.

Поэтому никто хорошенько не знал о том, что готовилось в тайниках того или другого ведомства, и лично я, несмотря на то что виделся с С. Ю. Витте часто и постоянно находился в общении с графом Сольским, занимавшим в Комитете министров исключительно влиятельное положение, – решительно ничего не знал о подготовке указа 12 декабря и встретился с ним только тогда, когда он был разослан перед заседанием Комитета.

Кто его готовил и какая доля участия в нем принадлежала Святополк-Мирскому, я положительно не знал. Об этом указе так много было писано, что не стоит повторять подробностей рассмотрения его, да и значение его, которое так возвеличивал в свою пору Витте, было совершенно ничтожно и окончательно заслонилось последующими событиями. О них мне также приходится говорить лишь очень поверхностно и вскользь, потому что мне не было суждено играть в них никакой активной роли, как не играли в них и другие министры, являвшиеся более или менее случайными участниками в обсуждении мер, которых они ни предупредить, ни отвратить не могли.

Мои личные отношения к Святополк-Мирскому были по их внешности очень хорошие. Сразу после своего приезда из Вильны он был у меня и сказал, что совершенно не разделяет мысли покойного Плеве о передаче фабричной инспекции в свое ведомство, доложил уже об этом государю, который выразил большое удовольствие по поводу того, что этот конфликт с Министерством финансов устранен, просил меня считать этот вопрос исчерпанным и заявил даже, что он поручил Департаменту полиции сообщать мне все донесения жандармской полиции по фабричному вопросу, предложил прекратить всякие ведомственные препирательства и обещал всяческую помощь своего ведомства в этом трудном деле.

Я позвал к себе товарища министра по отделу торговли и промышленности – Тимирязева, условился с ним, что мы от себя сообщим все, что так обостряло наши отношения при Плеве, и в этих ведомственных трениях наступило временное затишье. Правда, оно было очень кратковременным.

Назначенный в это время товарищем министра внутренних дел заведующий корпусом жандармов Д. Ф. Трепов, вскоре затем переименованный в петербургские генерал-губернаторы, только по внешности шел по пути, указанному ему его министром. На самом деле, пользуясь неясностью полномочий своих по управлению столицей, он начал все более и более вмешиваться в столкновения между рабочими и заводоуправлениями, и его влияние стало постепенно преобладающим.

В его распоряжениях была оригинальная смесь чисто зубатовского⁵, самого беззастенчивого заигрывания с рабочими и полицейского нажима на них, угроз по адресу фабрикантов за недостаточную заботливость о нуждах рабочих и предъявление к ним таких требований, которые не только не опирались на закон, но были явно неисполнимы, – и в то же время самое недвусмысленное запугивание рабочих и требование беспрекословного исполнения требований министерства в деле забастовок и разрешения длящихся конфликтов.

После гапоновского выступления – 9 января – эта двойственность приняла еще более резкие формы и вмешала даже лично государя в тревожное состояние, охватившее Петербургский район.

Результат всех этих попыток тоже хорошо известен, и говорить о нем теперь не приходится. Конец 1904 года ушел именно на попытки устранить осложнения среди рабочих, и

⁵ Речь идет о так называемом зубатовском социализме, или «зубатовщине», – создании рабочих организаций, подконтрольных правительству, для отвлечения простого народа от революционных движений. Название дано по имени автора этой идеи, чиновника Департамента полиции Сергея Васильевича Зубатова.

нужно откровенно сказать, что все усилия в этом отношении ни к чему не привели, да и не могли привести.

Власть в центре была невероятно ослаблена. Слабый и безвольный министр внутренних дел буквально не знал, что делать.

Витте толкал его все время на какие-то эксперименты, сам не давая себе отчета в том, куда он желает идти. Товарищ министра Трепов метался из стороны в сторону, то припоминая московскую зубатовщину, когда он открыто стоял на ее стороне и всячески влиял в том же смысле на великого князя Сергея Александровича, питавшего к нему слепое доверие, то одновременно с этим внушал мысли о необходимости проявления сильной власти для подавления всяких беспорядков. Его выражение «патронов не жалеть» непонятно мирилось с самыми демагогическими обращениями к рабочим.

При этом необходимо помнить, что в ту пору не было никаких общих совещаний представителей отдельных ведомств между собою. Все министры действовали разрозненно, каждый по своей области, а Витте, как председатель Комитета министров, не считал даже себя вправе направлять действия отдельных министров и вел переговоры только с отдельными, более близкими к нему по личным отношениям министрами.

Со мною, в частности, он разговаривал исключительно по финансовым операциям того времени и то – с тою целью, чтобы быть ближе осведомленным о них перед внесением их на рассмотрение Финансового комитета. По рабочему вопросу, составлявшему в конце 1904 года бесспорную ось всего внутреннего положения России, он ни разу со мною не разговаривал, несмотря на то, что мне была подчинена фабричная инспекция и к нему поступали от меня, по его же просьбе, все наиболее существенные донесения фабричных инспекторов.

Но вне сношений со мною, он бесспорно был в самых тесных сношениях как с оппозиционными кругами, так и с самыми разнообразными негласными представителями влиятельных кругов самого рабочего класса. Последующие события начала 1906 года и скандальный эпизод с отпуском 30 000 рублей, при участии Тимирязева, в распоряжение некоего Матюшинского, для влияния на рабочее движение, бесспорно подтверждает мое уверение.

Какую цель преследовал Витте в этом случае, было ли это проявлением какого-либо широко задуманного плана или, как я думаю, скорее всего, случайного влияния на него всевозможных советчиков, кичившихся близкими их сношениями с оппозиционными и даже революционными кругами, – этого я в точности сказать не могу. Думаю, однако, что подтверждением моей догадки служит лучше всего самая подготовка сопротивления Министерства внутренних дел гапоновскому движению на Зимний дворец.

До вечера 8 января 1905 года я не имел никакого понятия о том, что замышлялось в этом отношении. Не имел я понятия и о личности священника Гапона и уже гораздо позже слышал, что, будучи священником женской тюрьмы, он являлся к министру юстиции или начальнику Главного тюремного управления Курлову и говорил, что, имея влияние на рабочую среду, он может сломить забастовочное движение в Петербургском районе.

Впервые, вечером 8 января, меня пригласил министр внутренних дел князь Святополк-Мирский к себе, сказав мне по телефону, что он желал бы поговорить по некоторым частностям рабочего движения.

Это было около 9–9 с половиной часов вечера. Я застал в приемной министра градоначальника генерала Фулона, товарища министра Трепова, начальника Штаба войск гвардии и Петербургского округа генерала Мешетича, поджидали еще В. И. Ковалевского, как директора Департамента торговли и мануфактуры, но его не оказалось дома и он не участвовал в совещании.

Да и совещание то было чрезвычайно коротким и имело своим предметом только выслушать заявление генералов Фулона и Мешетича о тех распоряжениях, которые сделаны в отношении воинских нарядов для разных частей города, с целью помешать движению рабочих из

заречных частей города и со Шлиссельбургского тракта по направлению к Зимнему дворцу. Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведет чрезвычайно сильную агитацию священник Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосредственное обращение со своими нуждами к государю и поставить себя под его личную защиту, так как надежда на мирное разрешение тех вопросов, которые были причинами большого брожения среди рабочих петербургских заводов, заключается в личном участии государя в этом деле, потому что правительство слишком открыто будто бы держит сторону хозяев и пренебрегает интересами рабочих.

Все совещание носило совершенно спокойный характер. Среди представителей Министерства внутренних дел и в объяснениях начальника штаба не было ни малейшей тревоги.

На мой вопрос, почему же мы собрались так поздно, что я даже не могу осветить дела данными фабричной инспекции, князь Святополк-Мирский ответил мне, что он думал первоначально совсем не «тревожить» меня, так как дело вовсе не имеет серьезного характера, тем более что еще в четверг на его всеподданнейшем докладе было решено, что государь не проведет этого дня в городе, а выедет в Гатчину, полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, все движение будет остановлено, и никакого скопления на площади Зимнего дворца не произойдет.

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придется останавливать движение рабочих силою, и еще менее о том, что произойдет кровопролитие.

Витте не мог не знать обо всех приготовлениях, так как князь Святополк-Мирский советовался с ним буквально о каждом своем шаге. Кроме того, вечером того же 8 [января] или, точнее, ночью, к нему приезжали члены назначенного уже в то время Временного правительства с адвокатом Кедриным, членом городской управы во главе, уговаривая его взять все дело в свои руки и отменить распоряжение Министерства внутренних дел о воспрепятствовании силою движению на Зимний дворец.

Витте категорически сказал им, что не имеет обо всем этом никакого понятия и не может вмешиваться в чужое дело. Едва ли это было так на самом деле, потому что у С. Ю. Витте, несомненно, была чрезвычайно развитая агентура, освещавшая ему положение среди рабочих. Через день, в понедельник, уже после всего происшедшего, он подтвердил мне, что не имел никакого понятия о готовившейся демонстрации и о принятых против нее мерах, резко осуждал распоряжения министра внутренних дел и не раз произнес фразу: «Расстреливать беззащитных людей, идущих к своему царю с его портретами и образами в руках, – просто возмутительно, и князю Святополк-Мирскому необходимо уйти, так как он дискредитирован в глазах всех».

На мое замечание, что князь состоит с ним в самых близких отношениях и неужели же он не говорил с ним о готовившемся событии так же, как он не говорил ранее и со мною, Витте ответил мне, обращаясь ко всем присутствовавшим при нашем разговоре, что он не виделся с министром внутренних дел более недели перед событием и решительно не знал ничего. Говорил ли он правду или, по обыкновению, желал просто сложить с себя ответственность за печальный результат, – я сказать не могу.

Утро 9 января, – это было воскресенье, – я сидел за бумагами у себя в кабинете, как около 10 часов послышались залпы выстрелов около Полицейского моста и мимо моих окон по другой стороне Мойки побежала толпа от Невского к Волынкину переулку. Я хотел было выйти из дому, узнать в чем дело, но подъезд мой оказался запертым, и швейцар сказал мне, что только что была полиция и просила никого не выходить из дома, говоря, что необходимо обождать, пока рассеется скопление народа на Дворцовой площади и удастся оттеснить толпу из этого района.

Выстрелы продолжали слышаться все время, и после каждого залпа толпа отбегала в сторону Волынкина переулку и затем снова подвигалась к Полицейскому мосту. К 12 часам

стрельба стихла, и после завтрака я вышел на Мойку, обошел кругом по Морской, Дворцовой площади и Мойке, все было уже пусто, и только на Певческом мосту стояли кавалергарды, да в разных местах Дворцовой площади расставлены были пехотные части, и полиция не разрешала скапливаться.

Экипажей видно не было. Из разговоров на улице и из рассказа знакомого мне полицейского офицера я узнал только, что часть толпы, направлявшейся на Дворцовую площадь со стороны Конногвардейских казарм, прорвалась сквозь воинскую и полицейскую охрану и в нее стреляли.

Сколько народа было убито и ранено, нельзя было узнать, но все говорили в один голос, что число пострадавших было невелико.

Из эпизодов этого утра один небольшой, но совершенно неожиданный, врезался в мою память. В то время, как стрельба с Невского у Полицейского моста раздавалась особенно часто, мы с женою стояли у окна и следили за движением толпы по набережной Мойки, из Волынкина переулка, как раз против окон министерства, в промежуток между двумя залпами, появился извозчик, повернувший в сторону Певческого моста, и мы увидели двух наших знакомых дам – Е. В. Герман и ее сестру А. В. Жигалковскую, – направлявшихся к нам. Через несколько минут они пришли к нам и рассказали, что, выйдя в 11 часов на Троицкую, где они жили в то время, они услышали, что толпа будто бы громит министерства иностранных дел и финансов, и решили узнать, в чем дело.

По Невскому их спокойно пропустили до Конюшенной, но дальше они проехать не могли, так как в толпу стреляли вдоль Невского от Полицейского моста, на котором стояла рота Преображенского полка, и они свернули на Конюшенную и Волынкин переулок и чуть не попали под выстрелы вдоль Мойки.

Они пробыли у нас до 4 часов, а когда все стихло, то спокойно вернулись к себе по Невскому. В этот день мы были приглашены к обеду к генералу Мартынову, жившему на улице Гоголя. Приехали мы туда в карете к 8 часам, нас не хотели было пропускать с Невского на улицу Гоголя, но, узнав, кто мы, пропустили, и я попросил, чтобы снова дали проехать моему экипажу, когда он станет возвращаться домой, а затем, около 10, приедет за нами. Долго не подавали обеда, так как все ждали запаздывавшего моего бывшего начальника по Главному тюремному управлению – Галкина-Враского.

Он приехал только к 9 часам и рассказал, что по Невскому двигается компактная толпа, весьма беспокойная, что в его карету бросали камнями и все стекла разбиты вдребезги. Около 11 часов мы выехали с улицы Гоголя и решили проехать на Троицкую узнать, как добрались наши знакомые дамы домой днем. Путь – туда и обратно – был свободен, никто нас не задержал, только около Гостиного двора была небольшая толпа в стороне Большой Садовой, и по адресу нашей кареты раздавались недобрые крики.

Подробности этого рокового дня настолько всем известны, что пересказывать их теперь снова просто нет охоты.

Для меня этот день имел особое значение в двояком отношении. Он произвел огромное впечатление за границую, а как раз в эту пору я вел переговоры о заключении одновременно двух, независимых друг от друга, займов в Париже и в Берлине.

С другой стороны, для ослабления влияния этого дня на среду заводских рабочих в Петербургском районе, а через него и во всей России, Министерство внутренних дел и, в частности, генерал Трепов, как Петербургский генерал-губернатор, выдвинул и стал энергично проводить в жизнь мысль о необходимости личного воздействия государя на рабочих, с целью внести успокоение в их среду путем прямого заявления государя о том, что он принимает их интересы близко к сердцу и берет их под свою личную защиту.

Окончательно подавленный событиями 9 января, решившийся выйти в отставку князь Святополк-Мирский не принимал в этом вопросе никакого личного участия, предоставив все

дело Трепову, который не раз докладывал об этом лично государю и передавал мне высочайшие повеления о том, в чем они относились до ведомства Министерства финансов, а затем вскоре Святополк-Мирский вышел в отставку, уступив свое место Булыгину.

Революционная печать приписала эту мысль: вовлечь государя – мне, но это совершенно не верно, так как я ее не разделял и не шел дальше объявления именем государя, что рабочий вопрос близок его сердцу и он повелел правительству принять в спешном порядке все меры к разрешению справедливых нужд рабочих.

Но на моих всеподданнейших докладах государь не раз выражал определенно свое сочувствие мысли Трепова, предполагая, что ему следует лично попытаться внести успокоение в рабочую среду и с этой целью вызвать к себе представителей рабочих столичных фабрик и заводов.

Я высказывал государю, что не вижу пользы от такой меры, потому что устроить выборы с таким расчетом, чтобы представительство от рабочих хотя бы одного столичного района носило характер свободного выражения их мнения, нет никакой возможности потому, что закон не дает никаких указаний на возможность организации выборов, и нельзя ограничивать представительство от одного Петербургского района, не вызывая справедливого нареkania на то, что остальные районы обойдены выборами, да и настроение рабочих не таково, чтобы можно было рассчитывать на глубокое влияние на них личным обращением государя, когда рядом идет несомненная революционная пропаганда, которая воспользуется этим случаем, чтобы дискредитировать выборных в глазах рабочей массы, как представителей искусственного подбора в угоду власти.

Мои возражения не нравились государю. Он был, очевидно, под влиянием противоположных мне доводов Трепова и не раз выражал мне, хотя и в очень деликатной форме, что надеется все-таки иметь хорошее влияние на представителей от рабочих, если только удастся выбрать разумных людей. Моя мысль о том, что, в таком случае, следует дать и фабрикантам возможность увидеть государя и услышать от него его желания, тем более что я не раз удостоверял государя в том, что отношение фабрикантов к рабочим проникнуто полною готовностью идти широко навстречу разумным пожеланиям рабочих, но встречает в них самое предвзятое и враждебное к себе отношение под влиянием революционных вожаков, – успеха не имела, и государь отвечал мне всегда, что он вполне этому верит и предоставляет мне объяснить фабрикантам, что он никогда не сомневался в их готовности идти навстречу интересам рабочих.

Началась подготовка выборов представителей от рабочих для представления их государю. Она велась почти целиком генералом Треповым и носила, конечно, совершенно искусственный характер.

От каждого завода Петербургского района было назначено определенное количество уполномоченных в избирательное собрание, которое должно было из своей среды выбрать 30 человек депутатов для представления государю.

Никакого интереса к выборам рабочие не проявляли, а все заботы фабричной инспекции сводились только к одному: чтобы в число депутатов не попали крайние элементы и весь прием не носил в себе демонстративного характера.

Крайние элементы и не проявили никакого участия в выборах. В агитационных листках того времени, крайне многочисленных и почти ежедневно доходивших через фабричную инспекцию как до моего сведения, так и до сведения Министерства внутренних дел (они открыто расклеивались на стенах, на заводах), отношение к приему государем депутации было совершенно отрицательное, чтобы не сказать ироническое.

Трепов это отлично знал, как это знала хорошо и вся жандармская полиция. Докладывал я о них и государю, но он неизменно отвечал одно: «Если это так, то никто не может упрекнуть меня в том, что я безучастен к нуждам рабочих, и они сами будут виноваты в том, что не хотят с доверием подойти ко мне».

Прием рабочих состоялся в Царском Селе в конце февраля или в самых первых числах марта и носил совершенно бледный характер. Государь прочитал небольшую, заранее заготовленную им речь, в которой высказал ряд очень добрых к рабочим мыслей, просил их верить его участию, мирно работать на общую пользу и прибавил, что он уже приказал кому следует назначить особую комиссию для обследования положения рабочих северного района⁶, которая вникнет во все нужды рабочих и представит непосредственно ему заключение о том, что должно быть сделано для того, чтобы положение рабочих было улучшено.

Рабочие никаких своих пожеланий не высказали. Государь очень ласково поговорил почти с каждым из них, задавая им вопросы: откуда кто родом, чем занимался до поступления на завод и каково семейное положение каждого. Угостили всех делегатов чаем и сэндвичами, и все разъехались по домам. Трепов был доволен аудиенцией, открыто заявляя, что она прошла блестяще и не может не оставить глубокого следа. Присутствовавший при приеме старший фабричный инспектор был рад, что обошлось без «инцидента», но каждый, – вероятно, за исключением Трепова, – думал про себя, что никакого следа эта попытка не оставит, и все пойдет тем ходом, который определяется военными неудачами и нараставшим оппозиционным настроением в обществе, постепенно переходившим в прямое революционное движение.

Печать не обмолвилась ни одним словом о приеме рабочих, и даже «Новое время» зарегистрировало только один факт приема.

Витте молчал и ни в какие разговоры со мною по этому поводу не вступал. Зато, когда началось выполнение указаний государя о производстве полного обследования положения рабочих, на первых порах в Петербургском районе, и возник вопрос о том, как производить это обследование и кому его поручить, – Витте выступил со своим предложением поручить это дело члену Государственного совета Н. В. Шидловскому. Худшего выбора сделать было невозможно.

Необычайно высокого о себе мнения, не знавший административной жизни, способный только на глубокомысленную критику всех и вся, никогда не стоявший около какого бы то ни было живого, практического дела и помешанный на одних тонкостях редакционного искусства по его многолетней и исключительной службе в Государственной канцелярии, он буквально не знал, что делать, с какого конца приступить к делу, советовался со всеми, с кем только встречался, окружил себя самыми сомнительными элементами фабричной инспекции и сразу подпал влиянию очень способного, но склонного к всевозможным широким замыслам деятеля также фабричной инспекции – Литвинова-Фаленского, старавшегося раздуть это дело в какое-то грандиозное предприятие, с предварительным составлением и внесением в Комитет министров сложной программы. Шидловский все время только сомневался и недоумевал, как приступить к делу, давал длинные интервью в печати, да так и кончил не начав своего обследования и дотянул его до лета, а затем уехал к себе в деревню, в Воронежскую губернию. По правде сказать, ничего иного он и сделать не мог.

Революционное движение росло, стачки множились и развивались, быстро нарастала революция второй половины 1905 года, и не бумажную анкетой было потушить разгоравшийся пожар.

⁶ Выборгская сторона – рабочий район на севере Санкт-Петербурга.

Глава IV

Влияние событий 9 января на переговоры о внешних займах. – Переговоры с домом Мендельсона и заключение в Германии 4,5 %-го займа. – Переговоры о займе во Франции. – Приезд в Петербург главы русского синдиката в Париже господина Нетцилина. – Выставленные им требования. – Прием господина Нетцилина государем. – Два рескрипта на имя нового министра внутренних дел Булыгина. – Подготовительное обсуждение проекта Думы законосовещательного характера. С. Е. Крыжановский и А. И. Путилов. – Моя беседа с адмиралом Рожественским перед отплытием эскадры. – Проект А. М. Абазы о приобретении военных судов в Чили и в Бразилии. – Первые известия о поражении при Цусиме. – Рассмотрение проекта учреждения Государственной думы совещательного характера в совещании под председательством графа Сольского

Влияние события 9 января на второй вопрос, уже прямо затронувший меня, как министра финансов, – на ход моих переговоров по заключению внешних займов для получения средств на ведение войны и на поддержание нашего денежного обращения – было гораздо более реально.

Оно прошло почти бесследно для заключения займа в Германии, так как операция с заключением 4,5 %-го займа мне удалась, – но имело самые глубокие последствия на ход переговоров во Франции.

Начало моих сношений с Германией, в лице банкирского дома «Мендельсон и К^о», относится еще к концу 1904 года, и сейчас, столько лет спустя после этой поры, я не могу не вспомнить с чувством величайшей признательности того, как быстро, согласно и легко для меня шли эти переговоры.

Их не нарушило ни падение Порт-Артура, ни постепенно ухудшавшееся наше военное положение; со стороны этого дома я встретил такую предупредительность и готовность помочь мне, какой не встречал ни разу впоследствии до самого выхода моего в отставку с поста министра финансов в январе 1914 года.

Сначала глава дома – Эрнст фон Мендельсон-Бартольди, затем его правая рука и самый умный из всех финансистов, которых я когда-либо встречал, – Фишель старались всеми средствами облегчить мое положение, не только тогда, когда они верили еще в нашу победу, но и потом, когда для всех было ясно, что нам не кончить войны победою.

Переговоры о займе 1906 года были закончены вскоре после январских событий, и заем был заключен во второй половине февраля и выпущен на германском рынке в самом начале марта, несмотря на все грозные предзнаменования той поры и на открытое выступление разных общественных и в особенности ученых организаций с резкими протестами против деятельности правительства. Все основные условия займа были выработаны подробными предварительными сношениями с Берлином. Припоминаю по этому поводу одну характерную особенность в выработке условий этого займа.

Предупредив меня по телеграфу о дне своего приезда, Фишель пришел ко мне около 10 часов утра с отредактированными им окончательными условиями о займе и просил меня утвердить их непременно в тот же день, так как, по условиям берлинского рынка, он находил необходимым спешить с выпуском займа и предполагал на следующее утро выехать в обратный путь.

Этот день у меня был очень занятой, я не мог дать ему достаточно времени в дневные часы и просил его приехать ко мне обедать, с тем чтобы тотчас после обеда посвятить весь вечер на рассмотрение проекта контракта. Я пояснил ему, в чем именно заключаются мои несогласия, и просил его еще раз обдумать спорные пункты.

Мы кончили обедать около половины десятого и принялись за дело. Мы спорили долго и упорно. Фишель делал все возможное, чтобы удовлетворить моим желаниям, но были част-

ности, в которых он затруднялся уступить мне. Я предложил ему отвезти проект контракта в двух редакциях – моей и его – в Берлин к его патронам, с тем чтобы в случае их согласия я мог бы просто утвердить договор телеграммой, а при их несогласии – отложить все дело до лучших дней, так как я не мог принять окончательно его точку зрения на спорные части договора, и сказал ему откровенно, что не внесу их в Финансовый комитет, несмотря на то, что Витте передал мне по телефону, что, переговорив с ним (Фишелем), он предпочитает уступить ему, нежели откладывать совершение займа на условиях, которые ему кажутся весьма выгодными для России.

Наш спор сводился к размеру банкирской комиссии, порядочно поднятой Мендельсонами против прежних займов, и разница в наших взглядах выражалась в сумме не менее 500 000 рублей. Фишель сильно волновался, не желая уехать с пустыми руками, и, видимо, очень желал угодить мне, но, вероятно, имел определенные инструкции от своих хозяев.

Страдая пороком сердца, он не раз за весь вечер уходил в мой соседний кабинет и принимал различные медикаменты. В одну из его отлучек, продолжавшуюся, как мне показалось, слишком долго, я застал его на диване в полуобморочном состоянии и настаивал на том, чтобы он уехал в гостиницу и вернулся наутро, отложив на день свой выезд из Петербурга, но он попросил дать ему еще несколько минут на размышление и скоро вышел ко мне и сказал, что он берет на себя всю ответственность перед берлинским синдикатом, переделал тут же соответствующий пункт контракта, мы подписали его и простились теми же друзьями, какими встретились утром.

На следующий день, перед поездом, он еще раз заехал ко мне, просил не сердиться на его настойчивость и сказал только, что уступил мне потому, что хотел доставить мне личное удовольствие, и берется уладить все дело с участниками синдиката, а в случае их неудовольствия попросить меня только удостовериться, что он настаивал до сердечного припадка включительно.

В ближайшем заседании Финансового комитета, когда я доложил о результатах переговоров с Фишелем, Витте сказал, что он находит совершенно напрасным то, что я так «прижал», по его словам, Мендельсона и что выторгованные мною 500 000 рублей все равно уйдут бесследно среди бестолковых военных расходов. Его мнение не встретило, однако, никакого сочувствия, и даже всегда поддерживавший его и крайне умеренный в своих взглядах граф Сольский отнесся особенно сочувственно к моей настойчивости и благодарил меня за нее.

Совсем иначе шло дело о заключении займа во Франции. В самом начале февраля, без всякого предупреждения меня, приехал в Петербург глава русского синдиката в Париже, представитель Парижско-Нидерландского банка Эдуард Нетцлин и заявил мне, что внутренние события в России, неудачи на войне и, в особенности, то, что произошло 9 января и происходит в фабричных районах, производит самое невыгодное впечатление на французском рынке, наши бумаги падают, поддерживать их от катастрофического падения нет возможности и необходимо решиться на двоякого рода меру:

1) значительно увеличить кредит на поддержку прессы и не требовать, чтобы затраты на это шли на счет банкиров, то есть, другими словами, взять этот расход исключительно на средства русской казны, и 2) найти какой-либо способ внести успокоение в денежную французскую публику, если только мы не отказываемся на долгий срок от заключения во Франции государственных займов. Последнее заявление его мне было крайне неясно, и я просил его выразить его мысль в более конкретной форме.

Тогда Нетцлин совершенно открыто заявил мне, что приехал с ведома французского правительства, хотя и не сказал мне, кто именно из правительства уполномочил его говорить со мною от его имени, что он виделся перед отъездом с нашим послом А. И. Нелидовым, который предполагал писать мне (никакого письма от Нелидова я не получал), и что французское правительство чрезвычайно встревожено ходом наших дел, видит в них величайшую опасность и находит, что правительство наше бессильно бороться с поднимающимся революционным

настроением в стране, и ему приходилось уже подмечать в широких кругах политических деятелей Франции сомнение в том, удастся ли русскому правительству овладеть положением и не будет ли оно вынуждено – и на каких именно основаниях – уступить общественному движению и пойти навстречу его желаний, встав на путь конституционного образа правления.

Он оговорил при этом, конечно, что передает мне голос общественных кругов Франции, не имея сам определенного мнения об этом. Я посоветовал ему повидать председателя Комитета министров Витте, тем более что я знал, что он и без моего совета будет видеться с ним, и тут же в присутствии Нетцлина спросил его по телефону, когда именно может он принять только что приехавшего господина Нетцлина.

Витте ответил мне, что он знал уже об этом приезде и примет приехавшего в тот же день. Нетцлин не удовольствовался, однако, этим визитом и просил меня устроить ему аудиенцию у государя, так как ему чрезвычайно важно иметь возможность доложить по возвращении в Париж о том, что он исчерпал все средства для того, чтобы осветить истинное положение дел в России и вместе с тем выяснить нам настроение французского общественного мнения и правительственных кругов.

Я снесся по телефону с министром иностранных дел графом Ламсдорфом, прося его взять на себя испрошение аудиенции Нетцлину как иностранцу, но он уклонился от этого, говоря, что не имеет ни одного слова от нашего посла в Париже и думает, что это всего лучше сделать мне, тем более что и просьба обращена ко мне. В тот же день я написал об этом государю, но получил от него ответ, что он хочет раньше переговорить со мною, тем более что мой доклад приходился как раз через день.

Я повторил изустно то, что писал, развив лишь подробности моей беседы с Нетцлиным и высказанные им соображения, и прибавил, что отказ в приеме Нетцлина будет, скорее всего, невыгоден для нас, как проявление нашего нежелания даже выслушать то, что нам приносят от имени союзной страны.

Государь отнесся к этой просьбе совершенно спокойно и сразу же согласился на нее, сказав мне, что в мысли о необходимости быть ближе к общественному настроению он видит много справедливого и сам находит, что при охватившей общество тревоге, быть может, было бы полезно подумать о том, что могло бы быть принято в этом отношении.

Прием Нетцлина был назначен на другой день. Прямо из Царского Села Нетцлин приехал ко мне в самом радужном настроении и сказал, что государь был с ним исключительно милостив, поручил ему передать, кому он признает нужным, что революционное движение в стране гораздо менее глубоко, нежели предполагают в Париже, что мы справимся с ним, что он, государь, ждет резкого поворота в нашу пользу в военных действиях с прибытием на Восток нашего флота и что сам он серьезно думает о таких реформах, которые дадут большее удовлетворение общественному настроению.

Общий вывод Нетцлина от приема в Царском Селе был самый радужный, и он простился со мною, сказав, что тотчас по своем возвращении предпримет самые решительные шаги к возобновлению переговоров о новом займе. Он не скрыл от меня, что наш успех в переговорах с Мендельсоном будет служить для него поводом влиять на своих коллег по русскому синдикату. Весть о приеме государем Нетцлина попала в газеты, вероятно, через Витте, так как, кроме меня, Нетцлин говорил только с ним, а я никому ничего не рассказывал, и в газетных сообщениях на самые разнообразные лады развивалась мысль о сочувствии государя идее преобразования в духе общественного доверия.

Но тут же, как раз на другой день, 18 февраля, и притом совершенно неожиданно, прозвучал резким диссонансом к этой мысли рескрипт на имя нового министра внутренних дел Булыгина, сменившего князя Святополк-Мирского. В нем указывалось на распространяющееся в стране забастовочное движение, на вред, наносимый им делу вооруженной борьбы с внешним

врагом, и на необходимость решительной борьбы с ним всеми доступными власти способами, и ни одним словом не упоминалось о доверии к обществу и не возвещалось никаких реформ.

Витте был крайне смущен текстом рескрипта, поехал в Царское Село и говорил об этом. Говорил и я на моем докладе, указав на то, что в Париже просто не поймут этого после приема Нетцлина. Государь не дал прямого ответа, обещал подумать, и через некоторое время – я не припоминаю теперь в точности этого промежутка времени – появился новый рескрипт на имя Булыгина, с повелением приступить к разработке предположений о привлечении населения к более «деятельному и постоянному участию в делах законодательства».

Как известно, этот рескрипт положил начало выработке проекта о созыве Государственной думы законосовещательного характера, который получил утверждение 6 августа, после длительного и мучительного процесса подготовительной стадии, в котором самое деятельное участие приняли: со стороны Министерства внутренних дел – О.Е. Крыжановский, со стороны Министерства финансов – директор Общей канцелярии А. И. Путилов, стяжавший впоследствии известность в качестве председателя правления Русско-Азиатского банка, в особенности в пору нашего общего беженства.

Оба этих лица вели прямо противоположную политику в их предварительной работе. Крыжановский тянул вправо, тогда как Путилов явно шел влево, и не проходило дня, чтобы мне не приходилось встречаться с сетованиями Булыгина на то, что работа не подвигается вперед из-за нескончаемых споров с моим представителем.

Булыгин, совершенно не склонный к захвату власти и поддерживавший со мною самые дружеские отношения еще со времени прежней нашей совместной службы в Главном тюремном управлении в начале 80-х годов, приехал даже однажды ко мне и показал свой письменный всеподданнейший доклад с изложением целого ряда спорных пунктов по разногласию между Крыжановским и Путиловым, с отметками государя в смысле полного несогласия его со взглядами Путилова.

В результате этого мне пришлось дать Путилову прямые указания идти в согласии с указаниями государя, у нас произошло крупное объяснение, и Путилов должен был подчиниться, а потом указывал постоянно, что если бы его послушали, то все дело приняло бы совсем иной оборот и не потребовалось бы ни Манифеста 17 октября, ни усмирения Московского вооруженного восстания. Не стоит развивать полной несостоятельности этого взгляда, так как по настроению того времени никакие либеральные новшества не имели уже влияния на разбушевавшиеся страсти, и последние улеглись только под влиянием решительного подавления Московского восстания.

Весна 1905 года прошла в самом тревожном настроении. Дела на фронте шли все хуже и хуже. Спешные приготовления к отправке эскадры Рождественского и ее путь кругом мыса Доброй Надежды держали всех нас в каком-то оцепенении, мало кто давал себе отчет в шансах на успех задуманного небывалого предприятия. Всем страстно хотелось верить в чудо, большинство же просто закрывало себе глаза на невероятную рискованность замысла.

Да мало кто и знал техническую сторону предприятия.

Морское министерство просто скрывало, что суда были перегружены углем под влиянием опасения не получить его по пути. Правительство не было осведомлено о подробностях. Публика же просто верила слепо в успех, и, кажется, один Рождественский давал себе отчет в том, что может уготовить ему судьба в его бесконечном странствовании кругом Африки, по пути к нашему Дальнему Востоку. По крайней мере, когда нам пришлось, еще в 1904 году, как-то встретиться на Невском заводе на осмотре двух легких крейсеров, приготовляемых для его эскадры, и мы разговорились с ним, возвращаясь обратно на пароходе в город, он сказал мне на пожелания мои об успехе его трудного дела: «Какой может быть у меня успех? Не следовало бы начинать этого безнадежного дела, да разве я могу отказаться исполнять приказание, когда все верят в успех».

Зима и весна тянулись бесконечно томительно и долго. Вести с пути эскадры были тревожны, а после известного инцидента на Доггер-банке⁷ везде чуялись японские шпионы, которых в действительности, конечно, вовсе не было, так как японцам нечего было пускаться в напрасный дальний путь и они просто сторожили нашу эскадру у своих вод. Но планов, и притом самого разнообразного типа, в морском ведомстве было великое множество, и все они имели фантастический характер. Один из этих планов дал и мне немало хлопот.

Состоявший при генерал-адмирале, великом князе Алексее Александровиче, адмирал А. М. Абаза, тот самый, который вместе со статс-секретарем Безобразовым и Вонлярлярским был душою предприятия на Ялу, все время после падения Порт-Артура в декабре 1904 года носился с идеей усилить нашу Владивостокскую эскадру путем приобретения судов за границею. Немало всяких дельцов и авантюристов обивало в это время пороги Морского и Военного министерств со всевозможными предложениями услуг по самым разнообразным военным поставкам.

В числе этих господ находился, между прочим, некий американец, Чарльз Флинт, который подал мысль о том, что Чили и Бразилия имеют прекрасные боевые суда – броненосцы и крейсера, – которые можно купить сравнительно недорого, снабдить их русскою командою и перевести во Владивосток, с таким расчетом, что с остатком нашей там эскадры получится грозная сила, способная бороться с японцами и повернуть все военное положение в нашу пользу. Слух об этой затее долгое время доходил до меня только в самой осторожной форме, но не выливался в реальную форму.

Но в конце зимы 1904–1905 годов меня пригласили на совещание к великому князю Алексею Александровичу вместе с генералом Лобко, государственным контролером, и этот вопрос встал на официальную почву. Докладчиком по вопросу был адмирал Абаза, и он с величайшей авторитетностью и апломбом доказывал, что все продающиеся суда должны быть куплены во что бы то ни стало и не справляясь с ценою их. Государственный контролер поддерживал его самым решительным образом, морской министр был более сдержан и указывал на целый ряд чисто практических затруднений к снабжению судов нашим командным составом и к возможности провести их во Владивосток, независимо от того, удастся ли приобрести их или нет.

Мне пришлось сосредоточить мои возражения на чисто финансовой стороне вопроса. Я заявил, что принципиально не буду возражать против расхода на покупку судов, если мне будет объяснено, какие суда продаются, кем именно, за какую цену и как смотрит Морское министерство на осуществление предположения о посадке наших команд на суда, где именно и какая может быть найдена гарантия в том, что помогающая Японии Англия не захватит суда по пути.

Министерство иностранных дел в совещании не участвовало. Генерал-адмирал вел себя чрезвычайно корректно и не раз поддерживал меня в моих требованиях, чтобы деньги за суда были выплачены не ранее сдачи нам судов продавцами и занятия их нашею командою. Совещание разошлось на том, что весь вопрос будет рассмотрен под личным председательством государя, никакого протокола составлено не было, и я просил великого князя доложить государю мою точку зрения, пояснив еще раз, что против отпуска денег спорить не стану, но буду настаивать на всевозможных мерах предосторожности против напрасной уплаты денег каким-либо авантюристам, которые успели уже развить около этого дела самые волчьи аппетиты и о

⁷ Гульский инцидент – атака в Северном море в районе Доггер-банки недалеко от порта Гуль (Халл) на британские рыболовецкие суда Второй русской Тихоокеанской эскадры под командованием адмирала З. П. Рожественского 22 октября 1904 г. Командование эскадры получило данные о возможной атаке со стороны японских диверсионных сил. Британия, формально не вступившая в войну, поддерживала в ней Японию, что усугубило подозрения адмирала. Заметив в густом тумане подозрительные суда, русские моряки открыли стрельбу. В результате 2 английских рыбака погибли, одна рыболовецкая шхуна была затоплена, а отношения между Британией и Россией серьезно пострадали.

них открыто говорят во всех модных ресторанах, обещая направо и налево огромные комиссии в то время, как совещание решило даже не составлять протокола из опасения огласки.

Совещание у государя, в Царском Селе, состоялось несколько дней спустя. Это было в конце марта. Генерал-адмирал очень корректно и толково изложил все, что было говорено на совещании у него, и государь предложил всем приглашенным высказаться совершенно откровенно.

Абаза был по примеру прошлого раза настойчив и упорен, назвав все мои аргументы придирками, которые могут только испортить дело, сведя к нулю самое простое и ясное предположение. Государь остановил его словами: «Нельзя называть придирками совершенно естественные требования министра финансов устранить злоупотребления всяких авантюристов-посредников, и нужно сначала знать, что именно мы покупаем, за какую цену и не может ли случиться, что деньги будут уплачены, а судов мы не получим».

Между прочим, в этом совещании произошел небольшой инцидент, оставивший, видимо, в государе немалое впечатление. Адмирал Абаза заявил, что суда продаются вполне вооруженные и с полным комплектом снарядов на все орудия.

На мое заявление, известно ли ему, какие это орудия и имеются ли у нас снаряды, пригодные для пополнения израсходованных запасов, так как может случиться, что мы израсходуем снаряды и не будет возможности пополнить их из Петербурга, – я не получил никакого ответа, но морской министр сказал, что это очень важное замечание, и, вероятно, придется, в случае покупки судов, начать сразу же готовить новые снаряды, что потребует, конечно, много времени, так как раньше изучения орудий, очевидно, нельзя знать, какие готовить снаряды.

Совещание кончилось на том, что государь повелел повести это дальше, но предоставил мне принять все меры к ограждению казны от всяких попыток выманить деньги без передачи судов в наше фактическое распоряжение.

Долго тянулось это дело. Немало крови испортило оно мне, но кончилось почти анекдотически. После нескончаемых разговоров и встреч решено было купить четыре чилийских броненосца, известны были и их имена, продажная цена за них была установлена в 58 миллионов рублей, подлежащих выплате в Париже, через дом Ротшильда, но не иначе, как в момент получения телеграммы и принятия судов под нашу команду. Адмирал Абаза получил приказание выехать в Париж, вести там переговоры, но денежная часть ему поручена не была.

Я выговорил, что она остается в моих руках, и был командирован туда же А. И. Вышнеградский, занимавший в то время должность вице-директора Кредитной канцелярии. Абаза принял самый конспиративный вид, обрил свою классическую длинную бороду и появился в Париже в неузнаваемой внешности.

Не прошло, однако, и трех дней, как в бульварных газетах появилось фотографическое изображение адмирала в двух видах: в адмиральской форме, с его классической бородой, и в штатском одеянии, в мягкой дорожной шляпе и с гладко выбритым лицом.

Под этими изображениями помещен короткий текст, объясняющий причину прибытия адмирала в Париж, и, кстати, приведен и адрес гостиницы, в которой он поселился. Долго ждал адмирал своих посредников и комиссионеров, да так и не дождался. Напрасно просидел и Вышнеградский для производства расплаты, и оба они вернулись ни с чем.

Были ли вообще эти чилийские броненосцы в действительности или же – как я думаю – их вовсе не было никогда. Чилийское правительство и не помышляло продавать их нам, а все хитро задуманное предприятие существовало лишь в воображении всевозможных посредников, рассчитывавших на легкомыслие наших представителей.

Как бы то ни было, мне удалось спасти деньги, но адмирал Абаза не раз утверждал после этого, что броненосцы были и если бы ему дали свободу действий, то все было бы сделано, а благодаря моим спорам японцы все узнали и пригрозили чилийскому правительству войною, если только оно вздумает продать нам свои суда. Все это, конечно, чистейший вздор, и государь

не раз говорил мне, что он вполне уверен в том, что все это было задумано с целью получить наши деньги, не дав нам никаких судов.

Я должен отдать справедливость покойному Вышнеградскому, оказавшему мне в этом деле очень большую помощь.

По мере того как время шло к весне и поступали вести о движении нашей эскадры, государь все чаще и чаще говорил со мною о ней на моих докладах, а когда накануне одного из них получилось известие, что эскадра адмирала Небогатова соединилась с эскадрой Рождественского, государь встретил меня, радостный, веселый, словами: «Ну что же, и теперь вы не разгладите вашей морщины на лбу и все будете по-прежнему мрачно смотреть на судьбу нашего флота?»

Недолго продолжалось это радостное настроение. В субботу, 15 мая, под вечер, я получил из Берлина телеграмму от Мендельсона с сообщением, что утром этого дня в Цусимском проливе наш флот вступил в бой со всем японским флотом и погиб почти весь, так как лишь одно или два судна успели прорваться на север. Я тотчас позвонил к морскому министру и спросил его, известно ли ему что-либо. Он ничего не знал, но сказал, что тотчас сообщит государю по телефону, со ссылкой на то, что известие получено мною. Поздно вечером, уже около 12 часов, морской министр позвонил ко мне и сообщил, что такое же известие передано ему как нашим берлинским послом, так и морским агентом.

Государя я не видал целую неделю, а когда я пришел в следующую пятницу с очередным докладом, то застал его глубоко расстроенным и в первый раз, по-видимому, отрешившимся от своих обычных надежд на скорое и славное для России окончание войны. О самой катастрофе он совсем не говорил и сказал только, что не видит теперь надежды на скорую победу и думает только о том, что нужно тянуть войну, доводить японцев до истощения и заставить их просить почетного для нас мира. На внутренние беспорядки государь смотрел скорее безучастно, не придавая им особого значения, и все говорил о том, что они охватывают только небольшую часть страны и не могут иметь большого значения.

Тем временем Булыгин внес выработанный им проект учреждения Государственной думы совещательного характера, и с начала лета началось предварительное рассмотрение его в совещании под председательством графа Сольского, а затем, после небольших исправлений первоначальной редакции, дело перешло на окончательное рассмотрение его под председательством самого государя.

В состав последнего совещания был включен целый ряд лиц, обычно не принимавших участия в таких собраниях: граф А. П. Игнатъев, Победоносцев, А. А. Половцов, профессор Ключевский, Стишинский и много других, имена которых не удерживает моя память.

Преобладающий характер приглашенных – это лица с большим служебным прошлым. Прения носили по преимуществу совершенно спокойный характер, никаких принципиальных вопросов затронуто почти не было, и рассмотрение всего проекта заняло всего четыре или пять заседаний, но некоторые частности дали место к довольно любопытным прениям.

Помню, как между мною и Стишинским возник спор о том, каким условиям должны отвечать лица, подлежащие выборам в Государственную думу. Стишинский настаивал на том, что даже простая грамотность не должна быть обязательна, так как, по его мнению, самый надежный элемент представляет собою, как он выразился, «истовые крестьяне, более солидного возраста», а в их среде много совершенно неграмотных людей, но это отнюдь не мешает им хорошо знать местную жизнь, уметь разбираться в самых сложных вопросах сельского быта, земских нуждах и всего того, что составляет самую суть будущей деятельности Государственной думы.

Я возражал против такого предложения, доказывая, что никакая «истовость» не принесет никакой пользы, если будущий законодатель, хотя бы имеющий лишь совещательный голос, не сможет прочесть того, что ему будет предложено рассмотреть. Кое-кто из участников совеща-

ния поддерживал мою точку зрения, но государь встал на точку зрения Стишинского, и статья законопроекта была отредактирована в этом смысле.

Во всем ходе дела по рассмотрению проекта в совещании графа Сольского Витте, как председатель Комитета министров, принимал самое деятельное участие. Он ни разу не возбудил вопроса о том, что совещательный характер Думы никого не удовлетворит.

Зато он очень энергично возражал против включенного в проект воспрещения избирать евреев в члены Думы. Я решительно поддерживал его, вопрос занял два заседания и не был окончен до выезда Витте в Америку.

Перед своим отъездом он особенно просил меня телеграфировать ему в Вашингтон, чем разрешится этот спор, так как он справедливо придавал ему большое принципиальное значение, а резкая оппозиция правых элементов вызывала в нем опасение за судьбу вопроса.

Большинство участников совещания встало, однако, на нашу общую с ним точку зрения, и дело разрешилось вполне благополучно. Телеграмма в Портсмут была мною отправлена, и я получил даже на нее ответ с выражением благодарности, которой не получал потом ни за одну из многочисленных последующих моих депеш.

Глава V

Мирная конференция в Портсмуте. – А. И. Нелидов и Н. В. Муравьев – первые кандидаты на должность главного уполномоченного. – Назначение С. Ю. Витте и его отъезд в Портсмут. – Мои осведомительные телеграммы. – Направление, данное переговорам государем. – Всеподданнейший доклад графа Ламсдорфа по основным вопросам возможного соглашения. – Резолюция государя на этом докладе. – Составленное мною, по приказанию государя, письменное мнение о допустимых уступках Японии. – Решительная депеша государя о недопустимости контрибуции. – Возвращение Витте. – Резкая перемена в его отношении ко мне

В половине июля 1905 года, как известно, президент Северо-Американских Соединенных Штатов Рузвельт предложил нам и Японии свое посредничество в созыве мирной конференции для прекращения войны.

Согласие воюющих последовало, и мы стали спешно готовиться к конференции. Первым кандидатом на должность главного уполномоченного был предложен Министерством иностранных дел и охотно принят государем – наш парижский посол А. И. Нелидов, но он отказался, ссылаясь на свое слабое здоровье (он действительно в это время был болен), а также на незнание им английского языка.

За его отказом этот пост был предложен нашему послу в Риме Н. В. Муравьеву, который был вызван и спешно прибыл в Петербург. Прямо от министра иностранных дел он приехал ко мне на дачу на Елагином [острове] и, не возбуждая никаких вопросов по существу возложенной на него задачи, просил меня только «не урезывать тех кредитов, которые он намерен испросить для себя и своих спутников», ссылаясь на то, что жизнь в Америке безумно дорога, а у него самого совсем нет средств и он не знает даже, как может он продолжать свою службу в Риме.

Мы условились, что завтра же он придет ко мне и привезет подсчет его расходов. Просил он меня также дать ему в помощь кого-либо из моих сотрудников, если он, – как и сам думает об этом, – не ограничится составом чинов Министерства иностранных дел. Прямо от меня Муравьев поехал на том же Елагином к Витте, а наутро получил вызов в Петербург к государю. Что произошло между Витте и Муравьевым и что именно сказал последний государю, – я совершенно не знаю, но на следующий день, около четырех часов, когда я принимал доклады по министерству, Муравьев приехал ко мне и сказал, что, передумав всю ночь, он не решился принять на себя эту задачу, считая себя совершенно не в состоянии выполнить ее с успехом, высказав это откровенно государю, который чрезвычайно милостиво отнесся к его словам, разрешил ему немедленно вернуться в Рим, и когда на прощанье государь сказал ему, что он крайне затруднен выбором кандидата, то Муравьев будто бы сказал, что, по его мнению, есть вполне готовый и подходящий человек – Витте.

В тот же день Витте был вызван в Петергоф, позвонив по возвращении мне по телефону, спросил, не могу ли я прийти к нему, и, когда я пришел, сказал мне, что государь «заставил» его ехать в Америку.

Он прибавил: «Когда нужно чистить канавы, так посылают Витте, а когда предстоит работа почище или полегче, то всегда находятся другие охотники».

Едва ли мы узнаем когда-либо истину о том, как состоялось это назначение. Много разных рассказов ходило об этом потом по городу, но повторять их просто не хочется. Да и к чему! Как бы ни относиться к Витте, справедливость требует сказать, что он вышел с величайшей честью из трудного положения, хотя мало кто знает, какая доля в сравнительно выгодных для России условиях Портсмутского договора принадлежит лично государю. Но об этом речь впереди.

Витте собрался в дорогу очень скоро. Всего через день или через два после его назначения он приехал ко мне в министерство, долго пробыл у меня и в тоне величайшего дружелюбия просил меня помочь ему установлением постоянной связи с тем, что будет делаться в России.

«С той минуты, – говорил он, – как я сяду на пароход, я буду совершенно оторван от России, а между тем знать, что делается здесь, следить за всем и учитывать происходящее для меня крайне необходимо.

Мне будут врать, рассказывая всякие небылицы про Россию, а я должен знать больше, чем кто-либо другой, чтобы парировать выдумки, и если только люди увидят, что я осведомлен лучше их, то мой авторитет будет выше в глазах всех».

Я дал ему самое широкое обещание и выполнил его свято. Не было ни одного обстоятельства в жизни России за это время, о котором я не осведомлял бы его, и немало казенных денег извел я на депеши, но, кроме упомянутой телеграммы о евреях, ни на одну мою депешу я не получил ответа.

Когда он вернулся, я даже спросил его, все ли дошло до него, что я ему телеграфировал, и получил в ответ только: «Кажется, все».

И больше не было им сказано ни одного слова, как не обмолвился он даже простою благодарностью за все, что он получил от меня. Спутник Витте, бывший после моего ухода короткое время министром финансов – Шипов, напротив того сказал мне, что моих депеш они всегда ждали с величайшим нетерпением, и после первой же недели пребывания в Портсмуте Витте разрешил ему сообщать все, что было в них интересного иностранным корреспондентам, которые не раз спрашивали его, какие газеты информируют русскую делегацию так точно и быстро обо всем.

После этого посещения мы больше не виделись с Витте до самого его выезда и расстались с ним в самых теплых, чисто дружеских отношениях. Он обещал мне, в случае заключения мира, остановиться на обратном пути в Париже и попытаться подготовить почву для нового займа, который не состоялся весной, и даже сказал мне на прощанье: «Приезжайте ко мне сами в Париж к моему возвращению, если кончится все благополучно, и мы тут же сделаем все нужное».

Я ответил шутливо, что до октября–ноября Париж пусть [подождет], и не будет же он сидеть так долго в Америке. Я нарочно упоминаю обо всем этом, так как решительно не знаю, что именно произошло во время пребывания Витте в Америке и возвращения его домой, так как он вернулся в самом недружелюбном настроении по отношению ко мне, и с первых же дней после его приезда между нами установились совершенно небывалые отношения, которые и разразились отставкою моею в конце октября.

Не стану говорить о том, что я знаю относительно подробностей заключения Портсмутского договора.

Все детали отлично известны всем, и я могу и даже должен коснуться только того, что известно лично мне, о чем мало кто осведомлен помимо меня и чему до сих пор в широких кругах общественности просто не верят.

Советская власть, опустошая архивы Министерства иностранных дел и вынося наружу то, что она считает нужным в своих целях, почему-то до сих пор не опубликовала ни одной депеши, ни одного письма, относящегося ко времени переговоров в Портсмуте, которые выясняют то, какие инструкции получал Витте из Петербурга, что предлагал он и что ему отвечали, и кому обязаны мы тем, что Россия так мало уступила Японии.

В архиве должно было бы находиться и мое последнее письмо к министру иностранных дел графу Ламсдорфу в ответ на его сообщение мне о повелении государя о том, чтобы я высказал мое мнение по поводу депеши Витте, излагающей необходимость уступок Японии. Письмо это я хранил в копии у себя до самого моего побега из России и глубоко сожалею о том, что его более нет в моем распоряжении и я не могу привести его здесь.

Опубликование его внесло бы немалое изменение в пересказ графа Витте о том, как был заключен мирный договор, да и И. Я. Коростовец, написавший очень интересную монографию о том, чему он был свидетелем и даже участником, должен был бы также внести большие поправки в свое изложение. Не имея же под руками этого документа, я по необходимости должен воспроизвести его по памяти, но думаю, что, несмотря на все протекшие года, моя память удержала все оттенки.

Я пропускаю поэтому все, что касается переговоров в Портсмуте; скажу коротко то, что было перед самым отъездом Витте в Америку, и перейду затем прямо к концу этой эпопеи.

Как только был решен в принципе вопрос о согласии участвовать в мирных переговорах, осторожный и привыкший облекать каждый свой шаг в письменную форму, министр иностранных дел граф Ламсдорф представил государю доклад, испрашивая в нем прямых указаний по основным вопросам, по которым следует ожидать особых настояний со стороны Японии. Проект этого доклада, как и все, что касалось вопросов войны, отношения к Японии, Китаю и Персии, – он прислал мне и просил высказать и мое мнение.

Причина этого заключалась не только в том, что привыкши постоянно иметь самые близкие отношения к Витте, в бытность его министром финансов, граф Ламсдорф перенес часть этой близости на меня, как на его преемника, – но главным образом в том, что все вопросы финансовые, экономические и промышленные сосредоточивались по Китаю, Японии и Персии в Министерстве финансов, и трудно даже сказать, какое ведомство имело наибольшее влияние на дела этих трех стран: дипломатическое ли или финансовое.

За время же войны не было ни одного вопроса, по которому Министерство финансов не было привлечено к самому деятельному и широкому участию, не говоря уже вовсе о делах Китайско-Восточной железной дороги, которые лежали целиком на мне. В этом докладе граф Ламсдорф остановился главным образом на следующих вопросах, которые не могли не быть возбуждены Японией, о чем, как он писал, можно уже теперь судить по статьям английской прессы:

1) Вопрос о Корее, послуживший внешним поводом вооруженного столкновения нашего с Японией.

Граф Ламсдорф говорил, не обинуясь, что нам придется отступить от нашей точки зрения и отказаться от всякого влияния на Корею, если только мы предпочитаем кончить дело миром.

2) Вопрос о контрибуции, который выдвинут прессою на первый план, и следует ожидать, что кредиторы Японии выставят его с особой настойчивостью, ибо финансовое положение Японии не может не озабочивать их в первую голову.

Заклучения своего по этому вопросу граф Ламсдорф не высказывал.

3) Вопрос об ограничении наших вооруженных и в особенности морских сил на нашем Дальнем Востоке не может не остановить также особого внимания Японии ввиду преимуществ, достигнутых ею над нами, и, вероятно, стремления ее уменьшить опасность нового вооруженного с нами столкновения.

По этому вопросу я также не помню, чтобы министр иностранных дел выразил определенно свое мнение, и, во всяком случае, удостоверяю, что положительной схемы его разрешения он не предложил.

Доклад графа Ламсдорфа вернулся к нему со следующими надписями государя, которые резко запечатлелись в моей памяти и не изгладились из нее под влиянием пережитых впечатлений.

Наверху доклада государь написал: «Я готов кончить миром не мною начатую войну, если только предложенные условия будут отвечать достоинству России. Я не считаю нас побежденными, наши войска целы, и я верю в них».

Против вопроса о Корее государь написал: «В этом вопросе я согласен на уступки – это не русская земля».

Против вопроса о контрибуции государь написал: «Россия никогда не платила контрибуции, и я на это никогда не соглашусь», причем слово «никогда» было три раза подчеркнуто.

Против вопроса об ограничении наших вооруженных сил на Востоке отметка государя была: «Это не допустимо, мы не разбиты, можем продолжать войну, если нас вынудят к тому неприемлемыми условиями».

Этот доклад и отметки государя, разумеется, были сообщены графом Ламсдорфом Витте, если не до выезда его из России, то, во всяком случае, были ему пересланы в Америку, и можно только пожалеть о том, что никто из его спутников или он сам не упомянул об этом в оставленных ими записях.

Впрочем, справедливость заставляет сказать, что почти никто из спутников Витте или не оставил своих записок, как Шипов, профессор Мартенс, или же их записки и, в частности, записки барона Розена не дошли до меня. И. Я. Коростовец записал только, чему он был свидетелем и участником в Портсмуте. Сам же Витте оставил в своих записках столько неточностей, что нечему удивляться, что в них не нашлось места слову справедливости в пользу государя, а все приписано себе, хотя и отдавая справедливость покойному государю, немало осталось бы заслуг графа Витте в деле заключения Портсмутского договора.

Много раз за время переговоров мне приходилось докладывать о ходе переговоров государю. Еще чаще говорили мы с министром иностранных дел, и потому, когда подошел решительный момент и Витте спросил, что именно может он принять как последнюю уступку, с тем чтобы в случае отклонения его предложения японцами, он был уполномочен прервать переговоры и уехать, предав гласности причину разрыва, – я имел возможность высказать мой взгляд совершенно определенно, не внося никаких оговорок в мой ответ. В этом последнем фазисе я был привлечен выразить мое мнение на письме.

Помню хорошо, что это было в субботу, в первой половине августа. Я кончил мои занятия и собирался уехать в деревню. Жена ждала меня, готовая к отъезду. Мне подали письмо от министра иностранных дел, при котором я нашел копию последней телеграммы Витте на имя государя, с копией на имя министра иностранных дел. В своем письме граф Ламсдорф сообщал мне, что государь желает иметь во вторник утром доклад его по телеграмме Витте и поручает ему представить письменное, как свое, так и мое, заключение, которое он, граф Ламсдорф, представит в подлиннике.

Я взял это письмо с собою в деревню, по дороге в вагоне написал черновик моего ответа, на другой день, в воскресенье, привел его в порядок, перебелил собственноручно и в тот же вечер выехал обратно в город, чтобы в понедельник утром успеть переписать его и вовремя отправить министру иностранных дел. Помню ясно все построение моего письма.

В телеграмме Витте была фраза, что если нам необходим мир, то его нельзя достигнуть иначе, как уступками Японии по некоторым ее требованиям. Я начал поэтому и мое письмо с того, что мир нам, по моему крайнему убеждению, совершенно необходим, но о степени необходимости идти на уступки может судить только тот, кто знает положение дел на фронте.

«Хотя я этого не знаю, тем не менее я не могу высказаться и за то, чтобы запросить об этом главнокомандующего генерала Линевича, так как это может надолго затянуть дело, да и едва ли главнокомандующий в состоянии обнять всю обстановку нашего положения. Поэтому я считаю, что мир нам необходим как по нашему финансовому, так и, в особенности, по нашему внутреннему положению, и высказываюсь открыто за необходимость уступить в том, что не нарушает нашего достоинства».

С этой, последней точки зрения, я особенно решительно возражал против возможности уплатить какую-либо контрибуцию. Россия никогда еще не платила контрибуций, и она не лежит еще окончательно побежденная под пятою врага.

Вместо контрибуции я высказался за возможность уступить южную часть Сахалина и указал, что Япония может найти некоторую материальную для себя выгоду в вознаграждении за содержание наших военнопленных.

В тот же день вечером министр иностранных дел позвонил ко мне и сказал, что мое письмо соответствует тому, что не раз говорил государь, и что он думает, что эту точку зрения будет нетрудно обосновать, тем более что он и сам будет говорить в полном соответствии с этими мыслями. Во вторник днем, снова по телефону, министр иностранных дел сообщил мне, что телеграмма Витте отправлена в этом именно смысле, причем тон депеши был переделан государем лично настолько решительно в смысле недопустимости контрибуции, что он не сомневается в том, что Витте нельзя более вернуться к этому вопросу.

Как известно, через два дня соглашение было достигнуто, и я считаю делом моей совести сказать, что соглашение это состоялось главным образом потому, что государь проявил величайшую настойчивость, которой ему не мог внушить граф Ламсдорф, не способный на решительное сопротивление вообще.

Не было тут никакой заслуги и с моей стороны, так как я не видел государя в последнюю минуту, а письменное изложение тех или иных мыслей никогда не производило на него решающего действия. Я вполне уверен в том, что он ни в каком случае не отступил бы от недопустимости контрибуции и продолжал бы войну, если бы японцы не уступили. К чему бы привело это в конечном результате – это другой вопрос, но справедливость все-таки побуждает сказать, что мы не уплатили контрибуцию только потому, что Витте понял, что государь действительно на нее не согласится.

В пятницу, на докладе, государь был в самом радостном настроении и сказал мне, что он счастлив тому, как окончилось все дело, и что «Витте, очевидно, понял, – подлинные его слова, – что контрибуции я ни в каком случае не оплачу, хотя бы мне пришлось воевать еще два года».

Незадолго до того, как переговоры в Портсмуте привели к окончательному выяснению коренного разногласия между русскими и японскими уполномоченными и наш главный уполномоченный С. Ю. Витте должен был представить их по телеграфу на разрешение государя, испрашивая его последних указаний, – министр иностранных дел граф Ламсдорф и граф Сольский получили от С. Ю. Витте тождественные телеграммы, в которых он высказал свое опасение, что упорство Японии может вынудить нас или сделать тяжелые для нас уступки, или даже прервать переговоры и продолжать приостановленные военные действия.

Такое решение, чреватое своими последствиями, принятое к тому же одним правительством, без всякого участия общественного мнения, естественным образом обратит весь одиум⁸ осуждения непосредственно на верховную власть. Для того чтобы избежать этого, С. Ю. Витте высказал, что было бы крайне желательно созвать в спешном порядке совещание из наиболее видных общественных деятелей – представителей земств, городов и дворянства, – которому и предоставить высказать его мнение по поводу намечаемых оснований мирного договора ранее, нежели они поступят на утверждение государя.

Я узнал об этой телеграмме от графа Сольского, когда он пригласил меня, – как он сказал по телефону, – прибыть немедленно по очень спешному делу.

Я застал у него министра иностранных дел, который успел уже до моего приезда высказаться совершенно отрицательно по поводу предположения С. Ю. Витте, выражая свое недоумение, каким образом можно созвать такое совещание и как согласовать его заключение с пределами власти государя. Он особенно настаивал на том, что положение государя может быть даже гораздо хуже, если, получив заключение совещания, он примет решение, несогласное с ним.

⁸ Odiium (лат.) – ненависть, неприязнь, вражда.

Мнение графа Сольского было тождественно по существу, но шло еще гораздо дальше с точки зрения простой невыполнимости намеченного предположения. По его словам, переговоры в Портсмуте и без того настолько затянулись, что еще на днях была получена телеграмма от нашего главного уполномоченного с извещением, что президент Рузвельт начинает терять терпение.

Созыв совещания, даже если бы он мог быть допущен и осуществлен, настолько замедлил бы ответ России, что вся ответственность за неразрешение вопроса падала бы неизбежно на нее, и это одно делает мысль С. Ю. Витте неприемлемою.

Еще более неосуществимым окажется самый выбор участников совещания и выработка каких-либо справедливых и приемлемых для общественного мнения оснований для участия в таком небывалом совещании.

Особенно подробно останавливался граф Сольский на соображениях об особой щекотливости применения такого приема в данном случае и решительно поддержал графа Ламсдорфа в его резко отрицательном отношении к поднятому вопросу. Он просил нас обоих составить совместно краткое изложение высказанных мнений и представить его в письменной форме не далее как завтра утром, непосредственно государю, с тем чтобы он имел возможность обдумать все высказанное и принять свое решение.

Вечером того же дня содержание телеграммы С. Ю. Витте и мнение, высказанное нами тремя по ее содержанию, было передано графу Сольскому и отвезено за общими нашими подписями в Петергоф.

В тот же день около двух часов пополудни министр граф Ламсдорф сообщал мне, что государь без малейших колебаний утвердил представленное ему заключение и высказал целый ряд соображений, незатронутых в нашем письменном заключении, но вполне совпадавших с сущностью непосредственного между нами обмена мнений.

Телеграмма об этом была послана Витте в тот же день; спустя два или три дня пришла от него и депеша, излагающая последний фазис переговоров, послуживший к описанному уже выше окончательному решению, принятому государем.

В правительственной среде, да и в общественном мнении заключение мира прошло как-то малозаметно. Война велась слишком далеко от всех нас, ее отражение на повседневной жизни было слишком мало, и все жило под влиянием тех непосредственных впечатлений, которые чувствовались на каждом шагу, тем более что эти впечатления становились все более и более грозными, и никто не давал себе ясного представления о том, к чему все это приведет.

Забастовочное движение на фабриках росло и ширилось. Движение по железным дорогам становилось все более неправильным, и остановки в пути стали повторяться часто. Балтийский край был весь в самом тревожном состоянии, и, так сказать, под боком у Петербурга нападения на полицию и воинские части делались все более и более частыми. Курляндия шла в этом отношении впереди своих соседок и вызвала необходимость карательных экспедиций, возложенных на гвардейские части.

Я уверен, что многие помнят до сих пор дикую расправу, учиненную над драгунским отрядом в Газенпоте. Заживо сожженные солдаты не могли не вызвать отпора со стороны военной силы, посланной на усмирение восстания, а сплошные грабежи в имениях, с разорением замков, ясно указывали на то, какое направление принимают эти провозвестники событий 17-го и 18-го годов.

Все эти события наложили особый отпечаток на ту область, которая была мне особенно близка. Государственные доходы стали поступать туго, и в кассовом отношении стали замечаться явления, которых вовсе не знали полтора года войны.

Думать о возможности найти необходимые средства с помощью внутреннего займа не приходилось, и мне оставалось только ждать возвращения Витте, тем более что на посланное мною ему приветствие по поводу заключения мира я получил от него очень любезную теле-

грамму, в которой он напоминал мне, что хорошо помнит о данном мне обещании и остановится нарочно в Париже с этой целью, будучи твердо уверен в том, что легко достигнет успеха, так как отпало теперь главное препятствие. Затем из Парижа я получил от него некую телеграмму с сообщением, что, несмотря на то, что многих из нужных мне людей он не нашел на месте, он имеет самые положительные обещания и рассчитывает на скорый благоприятный их результат.

Что произошло в короткий промежуток времени между пребыванием Витте в Париже и возвращением его в Петербург, я положительно не знаю. Во всяком случае, очевидно, что произошло нечто необычное, вызвавшее к тому же и неожиданные для меня последствия. Вскружил ли ему голову успех в Портсмуте, пришла ли ему, после свидания с германским императором в Роминтене и оказанного ему там приема, мысль о том, что он спас Россию и призван быть теперь единственным вершителем всех ее судеб, укрепился ли он в той же мысли после приема у государя и возведения его в графское достоинство, захотел ли он под влиянием всех этих успехов просто отделаться от меня, так как считал меня всегда недостаточно покорным его воле, – я этого не знаю, но должен отметить, что после первой же нашей встречи, по его возвращении, Витте стал проявлять на глазах у всех совершенно небывалую резкость по отношению ко мне и просто недопустимую нетерпимость к каждому выраженному мною мнению.

Я поехал к нему поздравить его в день его приезда, не застал его дома и оставил ему несколько слов горячего привета. Он посетил меня на следующий день, пробыл всего несколько минут, не сел даже на предложенное кресло и все ходил по моему кабинету как-то вяло, точно не охотно, отвечая на мои вопросы.

Он не обмолвился ни одним словом о том, что я держал его почти ежедневно в курсе всех событий за время его отсутствия, как будто бы я не послал ему ни одной телеграммы. На мою попытку рассказать ему более подробно о том, что происходит у нас, я ясно видел, что он просто не расположен меня слушать, и прервал меня даже словами: «Все это пустяки по сравнению с тем, что будет дальше, и ничего, кроме глупостей, здесь не делается», а на мой вопрос, что именно понимает он, Витте ответил раздраженным тоном: «Сами скоро увидите», а на просьбу мою сказать мне, что удалось ему сделать в Париже, он ответил также резко: «Да все сделал, можете послать телеграмму Нетцлину, чтобы он приезжал. Шипов вам передаст. Он в курсе всех моих переговоров». После этих слов он подал мне руку и уехал, оставив меня в полном недоумении по поводу этой нашей встречи.

Глава VI

Финансовая ликвидация войны. – Вызов в Петербург господина Нетцлина. – Имел ли граф Витте беседу о займе с графом Бюловым. – Приезд французских банкиров и мои с ними переговоры. – Спешный их выезд из России. – Инциденты, вызванные Витте на совещаниях по выработке проекта объединения деятельности отдельных министров и по проекту об амнистии. – Тайна, которой окружена была подготовка Манифеста 17 октября 1905 года

В тот же вечер ко мне приехал Шипов, которого я просил пояснить мне, что именно произошло с Витте, чем раздражен он против меня?

Уклонился ли И. П. Шипов от откровенной беседы, проявил ли он тут свойственную ему замкнутость и уклончивость, или же на самом деле он ничего точно не знал, – я также не могу сказать, – но, выслушав мой подробный пересказ о нашей встрече с Витте утром, он сделал вид человека положительно ошеломленного и сказал, что он просто своим ушам не верит и думает, что Витте подавлен впечатлениями того, что застал здесь, но убежден, что ничего личного по отношению ко мне нет и в помине.

Рассказал он мне при этом, что каждую мою телеграмму он прочитывал сам, постоянно говорил, что не знает, как благодарить меня за все мои сообщения, что они одни дали ему возможность учитывать наши внутренние события и поправлять неверные факты, подносимые ему газетными корреспондентами, а на вопрос мой, что сделано в Париже, Шипов сказал мне очень коротко, что он знает только, что Витте видел столько раз Нетцлина и очень советовал ему приехать в Петербург, но думает, по тону разговоров, что Нетцлин не очень горячо отдался этой мысли и, во всяком случае в его присутствии, сказал Витте, что будет ждать моего приглашения, и даже выразился так, что ему было бы приятно, чтобы мое приглашение не имело характера обращения к нему одному, а содержало бы вызов всех представителей русской группы приехать в Петербург, выбрав для этого время по их усмотрению, но не слишком откладывая путешествие.

Я так и поступил. На другой же день, сославшись на беседу с только что вернувшимся графом Витте, я просил, через Нетцлина, представителей русской группы прибыть в Петербург, указывая, что общее настроение правящих кругов должно устранить те затруднения, которые мешали нам до сих пор привести в исполнение тот план, который имелся в виду еще в конце прошлого года.

В моей телеграмме Нетцлину и в объяснительном к ней письме я не мог дать ему сколько-нибудь реальных пояснений того, что происходило у нас в это время, так как не хотел больше освещать мрачную картину нашего революционного брожения, нежели делала это французская и в особенности германская пресса, относившаяся в ту пору сравнительно спокойно к переживаемым нами событиям и не терявшая веру в то, что Россия скоро справится с движением. Не касался я также в моем письме и того, что готовилось в окружении графа Витте по части перемен нашего внутреннего строя, потому что я почти ничего не знал о том, что замышлялось им, да и никто из его близких и друзей, [он] не делился не только со мною, но даже и с кем бы то ни было из правительства о подготавливавшемся Манифесте 17 октября.

Помню хорошо, что в моем длинном пояснительном письме я указывал главным образом на то, что заключенный мир и решимость государя вступить на путь участия народа в работе по законодательству – хотя бы на первых порах с характером совещательным – создают, во всяком случае, более благоприятную почву для финансовой ликвидации войны, а она необходима не только для самой России, но и для всех стран, связанных с нею общностью интересов.

Я помню также, что внизу письма я приписал от руки, что я не сомневаюсь в том, что Германия, и в частности группа Мендельсона, пойдет навстречу нашим стремлениям оздоро-

вить наше денежное обращение и спасти его от введения принудительного курса, чего мы не допустили во все время неудачной войны.

Мне очень жаль, что и это письмо не опубликовано большевиками в том извлечении из моей переписки с тем же Нетцлиным, которое сделано ими и в которое попали гораздо менее интересные мои письма.

Ответ на мою телеграмму получился очень скоро. Нетцлин сообщил мне, что он постарается исполнить обещание, данное им графу Витте, что большинство участников русской группы высказалось уже вполне сочувственно, что медлит только «Лионский кредит», но что он не сомневается и в его согласии – наметил даже вероятное время приезда группы банкиров между 10 и 15 октября. Так оно и было на самом деле. Приехали они перед самым днем издания Манифеста.

Здесь мне приходится невольно сделать небольшой перерыв в изложении последовательного хода событий того времени моей жизни и деятельности и вставить один эпизод, который попал мне под руку уже много лет спустя, в эмиграции, в сентябре 1931 года, когда графа Витте давно не было уже на свете, а я перебирал мои воспоминания из моего далекого прошлого.

В печати появились мемуары покойного канцлера германского князя Бюлова, многолетнего сотрудника императора Вильгельма. Они наделали немало шума своими разоблачениями и вызвали с разных сторон обильную полемику и многочисленными указами на величайшие неточности, допущенные им умышленно или невольно – это безразлично.

В составе этих мемуаров появилась и секретная переписка князя Бюлова с императором, в виде небольшого томика, изданного одновременно на трех языках – немецком, английском и французском.

В этом томике, в его французском издании, на с. 141 содержится следующая выдержка из письма князя Бюлова к императору от 25 сентября 1906 года: «Сегодня утром я имел двухчасовую беседу с Витте.

Он, видимо, враждебен Англии и рассказал мне, что ему удалось в последнюю минуту помешать заключению русского займа во Франции и Англии. Он убедил Рувье, что такой заем был бы направлен против Германии и противоречил бы и интересам самой Франции (?).

Лубэ ему сказал также, что он ничего не знал о таком предположении и, если бы знал, то, несомненно, был бы против вето. Вместе с тем Лубэ поклялся ему, что не существует никакого секретного договора между Францией и Англией. Витте находит англо-японский договор просто оскорбительным для России. Но что в особенности возмутило Витте, это заявление, открыто сделанное Англией о ее намерении открыть английский рынок для русских ценностей, до 10-ти миллионов фунтов стерлингов, причем Англия быстро превратила бы это свое намерение в чисто призрачное, выбросив эти ценности на французский и немецкий рынки».

Когда читаешь такое извлечение из несомненного донесения канцлера своему императору и сопоставляешь его с тем, что происходило на моих глазах, то невольно, несмотря на промежуток времени, отделяющий меня от этих событий целую четверть века, – спрашиваешь себя, не отошел ли в этом случае князь Бюлов от истины, как он сделал это во многих случаях, и мог ли русский государственный человек сказать ответственному государственному человеку чужой страны, что он поступил против своей страны в угоду этой стране, то есть совершил, выражаясь простыми словами, акт просто вредный для его страны?

Граф Витте причинил мне много горя, но я всегда старался быть справедливым к нему и отдавать должное его выдающимся дарованиям.

Мне хотелось бы и на этот раз сказать, что князь Бюлов отошел от истины и что граф Витте не мог сказать того, что ему приписывается [через] 16 лет после его смерти. Но я, по совести, не могу сказать, что князь Бюлов просто выдумал и сообщил своему императору то, чего не мог сказать его недавний гость.

Выдумать такую небывлицу просто невозможно, ибо никто в ту пору, кроме графа Витте, не знал о том, что Россия готовит новый заем во Франции.

Тем менее мог кто-либо говорить о займе в Англии, о чем не было никакой речи вообще, а предположение о совершении займа во Франции имело характер почти академический, так как вся моя беседа с графом Витте, при его отъезде в Америку, не имела иного значения, как желание мое позондировать почву в Париже, если бы нам удалось кончить войну заключением мира с Японией.

Речи о каком бы то ни было желании нанести ущерб Германии также не было. Германия, совершившая за полгода перед тем 4,5 %-й заем 1905 года, отлично знала, что до заключения мира никакого нового займа на каком бы то ни было рынке совершить было просто невозможно.

Германские банки в лице дома Мендельсона были отлично осведомлены о каждом нашем шаге, и представитель его Фишель был в ту пору столь же близок к нашему Министерству финансов, сколько его ценили и в русской группе французских банков. Весь финансовый мир прекрасно понимал, что окончание Русско-японской войны неизбежно потребует для России изыскания на внешнем рынке новых средств для ликвидации войны, но никому не приходило в голову, чтобы речь о таком займе могла быть поднята до заключения внешнего мира и до выяснения внутренних осложнений, перенесенных страной.

Лучше всех знал это граф Витте уже по тому одному, что сам он предложил мне повести речь о займе после заключения мира, при посещении им Парижа. Знал он из ежедневных моих с ним сношений, как во время пребывания его в Портсмуте, так и по пути домой, что я ни с кем не вел никаких переговоров и ждал его возвращения, чтобы начать эти переговоры, если бы ему удалось подготовить почву.

Никто, как он сам, тотчас по возвращении, в описанной мною выше его первой беседе со мною, не сказал, что все им сделано, и я могу немедленно вызывать в Петербург господина Нетцлина. Ни о каком препятствии со стороны французского правительства он мне и не заикался не только во время этой беседы, но и позже, когда с его же ведома и даже разрешения я послал приглашение французской группе, и очевидно, я не мог вызывать их, если бы он предварил меня о парижском настроении в отношении нашего займа.

Невольно напрашивается вопрос: когда же граф Витте говорил неправду? Тогда ли, когда проездом через Берлин и далее через Роминтен он хвалился князю Бюлову и через него императору Вильгельму о том, что в интересах Германии он, русский председатель Комитета министров, помешал реализации русского займа, им же признанного необходимым в Париже?

Или тогда, когда, вернувшись в Россию, он заявил мне, что все им подготовлено, я могу вызывать представителей банковской группы и сам он докладывал об этом своему государю, который благодарил его за оказанную им помощь и с радостью говорил мне об этом?

Для меня несомненно, что говорил он сознательную неправду, если он ее говорил, только в первом случае, и сделал это с единственной целью – выставить себя истинным другом Германии, не отдавая себе отчета в том, что это было прямое нарушение его долга по отношению к своей родине и не могло быть принято иначе и его слушателем.

В его характере всегда было немало склонности к довольно смелым заявлениям.

Самовозвеличение, присвоение себе небывалых деяний, похвальба тем, чего не было на самом деле, не раз замечались людьми, приходившими с ним в близкое соприкосновение, и часто это происходило в такой обстановке, которая была даже невыгодна самому Витте.

Я припоминаю рассказ его спутника в поездке его в начале 1903 года в Германию для выработки и заключения торгового договора с Германией. Этот рассказ десять лет спустя был дословно повторен мне тем же князем Бюловым в Риме при свидании моем с ним в апреле 1914 года, когда я был уже не у дел.

Витте вел часть переговоров лично и непосредственно с князем Бюловым в его имении в Нордернее.

При переговорах присутствовал с русской стороны один Тимирязев. Они тянулись долгое время, и вечерние досуги проводились обыкновенно среди музыки и пения.

Княгиня Бюлова, итальянка по происхождению, сама прекрасная певица и высокообразованная женщина, постоянно просила Витте указывать ей, что именно хотелось бы ему услышать в ее исполнении. Ответы его поражали всех своею неожиданностью; было очевидно, что ни одного из классиков он не знал и отделялся самыми общими местами.

Тимирязев, сам прекрасный пианист, постоянно старался выручать своего патрона тем, что предлагал сыграть то, что особенно любит его шеф, и тогда не раз происходили презабавные кви-про-кво: Витте спорил, что играли Шуберта, когда на самом деле это был Шопен, а по части Мендельсона он всегда говорил, что его можно разбудить ночью и он без ошибки скажет с первой ноты, что именно сыграно.

Верхом его музыкального хвастовства было, однако, событие, рассказанное мне по этому поводу тем же спутником Витте В. И. Тимирязевым. Княгиня Бюлова как-то спросила Витте за обедом, на каком инструменте играл он в его молодые годы.

Он ответил не запинаясь, что играл на всех инструментах, и когда хозяйка попыталась было сказать, что такого явления она еще не встречала во всю свою музыкальную жизнь, то Витте без малейшего смущения парировал ее сомнение неожиданным образом, сказав, что это в Германии музыкальное образование так специализировалось, что каждый избирает себе определенный инструмент, тогда как в их доме все дети играли на всех инструментах, почему он и мог при поступлении в университет в Одессе организовать чуть ли не в одну неделю первоклассный оркестр из 200 музыкантов, которым он дирижировал во всех публичных концертах.

После этого рассказа, заключил Тимирязев, разговоры на музыкальные темы по вечерам и за обедами как-то прекратились, и сама хозяйка, со свойственным ей тактом, переводила разговоры на иные, более упрощенные темы.

Так и в описываемом мною случае Витте задался целью просто «очаровать» своих собеседников и говорил им то, что, ему казалось, должно было им быть особенно приятно, нимало не справляясь с тем, верно ли это или просто неверно, и еще менее справляясь с тем, не может ли его заявление выйти на свет божий. Пожалуй, он и оказался бы прав; если бы двадцать пять лет спустя князь Бюлов не рассказал того, что он сообщил ему в минуту своего победного возвращения в Петербург.

Через две недели после этого эпизода приехали французские банкиры в Петербург, и с ними Витте вел совершенно иного свойства беседу, не заикаясь о несогласии французского правительства и нимало не смущаясь тем, что те же банкиры говорили ему, что они ехали с большим сомнением в возможности заключить заем, но не хотели отказывать графу Витте в его настояниях. Нечего говорить о том, что ни Рувье, ни Лубэ и не думали препятствовать заключению займа и не удерживали даже банкиров от поездки в Россию, когда об этом было доведено до их сведения.

Продолжаю прерванный мною рассказ о том, как развивались дальше события того времени.

После первого моего свидания с С. Ю. Витте наши встречи становились все более и более редкими. Витте не раз уклонялся от моего желания видеться с ним, ссылаясь на множество занятий, я старался не искать встреч, но каждый раз становилось ясно, что наши отношения принимают все более и более напряженный и даже недопустимый с его стороны характер.

Начались заседания Особого совещания под председательством графа Сольского по выработке проекта объединения деятельности отдельных министерств. Инициатива такого проекта принадлежала, разумеется, графу Витте, хотя письменного его доклада я никогда не

видел, но знал от графа Сольского, показавшего мне собственноручную записку государя, в которой было сказано, что он не раз убеждался в том, что министры недостаточно объединены в их текущей работе, что это совершенно недопустимо теперь, когда предстоит в скором времени созыв Государственной думы, и потому он поручает графу Сольскому в спешном порядке выработать проект правил о таком объединении и представить на его утверждение. В записке было сказано, что председатель Комитета министров имеет уже проект таких правил, который представляется государю вполне разумным, и затем указан и самый состав совещания, со включением в него и меня.

Начались почти ежедневные заседания, и с первых же шагов мое положение стало для меня просто непонятным, а вскоре и совершенно невыносимым. Стоило мне сделать какое-либо замечание, как бы невинно и даже вполне естественно оно ни было, чтобы граф Витте не ответил мне в самом недопустимом тоне, какого никто давно из нас не слышал в наших собраниях, в особенности такого малочисленного состава людей, давно друг друга знающих и столько лет работавших вместе.

Первые приступы такого непонятного раздражения вызывали полное недоумение со стороны всегда утонченно вежливого и деликатного графа Сольского. Он боялся, чтобы я не вспылит и не наговорит Витте неприятностей, и, когда первое заседание кончилось, он попросил меня остаться у него, благодарил за мою сдержанность и выразил полное недоумение тому характеру возражений, который так изумлял всех.

Я рассказал ему все, что произошло между мною и Витте с самого его возвращения, упомянул о разговоре с Шиповым и, ссылаясь на нашу давнюю близость, просил его разрешить мне, при первом повторении таких выпадов, обратиться к нему, как к председателю, с просьбой разрешить мне выйти из состава совещания, доложив государю, что я вынужден сделать это по совершенной невозможности продолжать работу при том настроении враждебной раздраженности, которое проявляется со стороны графа Витте.

Сольский просил меня этого не делать, обещал переговорить с Витте наедине и уговорить его сдерживать его несправедливое отношение ко мне. Я не знаю, исполнил ли он данное мне обещание, но практического результата это обещание не имело.

В следующем же заседании столкновение приняло еще более неприличный характер. Помню хорошо его повод. В проекте графа Витте стояла между прочим статья, по которой все доклады министров у государя должны были происходить не иначе, как в присутствии председателя Совета министров и при том условии, чтобы всякий доклад предварительно рассматривался и одобрялся председателем.

Перед самым заседанием ко мне подошел Ермолов и заявил, что он станет самым решительным образом возражать против этой статьи и даже останется при особом мнении, спрашивая, присоединяюсь ли я к нему.

Э. В. Фриш, почти всегда старавшийся примирять резкости Витте и искать компромисса при разногласиях, также находил недопустимым ставить доклады министров в такие неисполнимые условия. Граф Сольский также сказал нам, что он считает неосторожным создавать такую искусственность и надеется уговорить Витте не настаивать на ней. Обращаясь к Фришу, он сказал, что эта статья вводит в наше законодательство небывалый институт «Великого визиря», на что едва ли и государь согласится.

Он прибавил: «Вот, Владимир Николаевич, прекрасный случай для вас возражать графу Витте. По крайней мере, на этот раз вы не останетесь в меньшинстве».

Я тут же заявил, что пришел с твердым намерением возражать, приготовился к этому и прошу только оградить меня от несомненных выходов личного свойства, обещая не дать никакого повода к ним в самом способе заявления моего отрицательного отношения.

Случилось то, что так часто бывало в наших собраниях. Ермолов был очень слаб в своих возражениях и при первом же окрике Витте просто стушевался, заявив, что будет голосовать

против статьи. Фриш исполнил свое обещание и, несмотря на такие же резкости со стороны Витте, ответил ему очень вескими аргументами, которые еще больше раздражили Витте. Едва сдерживая себя, он предложил высказать свое мнение после всех, прибавив, что «не сомневается, что многое будет ему высказано другими участниками совещания; один министр финансов чего стоит»!

Во время моих объяснений, продолжавшихся всего несколько минут, так как я коснулся лишь тех аргументов, которых не привели другие, Витте не мог сидеть спокойно на месте, вставал, ходил по комнате, закуривал, бросал папироску, опять садился и, наконец, на предложение графа Сольского высказать его заключение, почти истерическим голосом стал возражать всем говорившим и отдал особенную честь мне, сказав, что немало глупостей слышал он на своем веку, но таких, до которых договорился министр финансов, он еще не слышал, и жалеет, что не ведутся стенографические отчеты наших прений, чтобы увековечить такое историческое заседание.

Всегда сдержанный и обычно державший сторону Витте, граф Сольский на этот раз не выдержал и, обращаясь ко мне с просьбой оставить оскорбительную выходку графа Витте без личного моего возражения, сказал: «Я полагаю, что многие участники нашего совещания вполне разделяют ваш взгляд, который выражен не только сдержанно по форме, но и совершенно правильно по существу, так как он сохраняет должную самостоятельность за министрами как докладчиками у государя и в то же время обеспечивает за правительством должное единство, обязывая всех министров проводить через Совет министров все проекты их всеподданнейших докладов, имеющих общее значение и затрагивающих сферу деятельности других ведомств».

Витте замолчал и проговорил только в заключение: «Пишите, что хотите, я же знаю, как я поступлю в том случае, если на меня выпадет удовольствие быть председателем будущего Совета министров. У меня будут министры – мои люди, и их отдельных всеподданнейших докладов я не побоюсь».

Все переглянулись, я не ответил Витте ни одним словом, задержался несколько минут у графа Сольского после разъезда и сказал ему, что для меня совершенно очевидно, что как только Витте будет назначен председателем Совета министров, – в чем не может быть ни малейшего сомнения, – я немедленно подам в отставку. Сольский опять просил меня этого не делать, ссылаясь на то, что Витте быстро меняет свои отношения и столь же скоро переходит от вражды к дружбе, как и обратно.

Ожидания графа Сольского, однако, совершенно не сбылись. Наши встречи продолжались и после этого острого столкновения в той же напряженной атмосфере, и каждая из них приносила только новое обострение.

Я кончил тем, что перестал возражать Витте открыто и заменял мои словесные выступления предложениями письменного изложения новой редакции тех статей, которые вызвали мои возражения. В одних случаях я был поддержан другими участниками совещания, в других мне приходилось уступать, но споры между мною и Витте прекратились, и наши отношения приняли даже наружно такую форму, что для всех стало ясно, что между нами произошел полный разрыв. Я решил совершенно определенно уйти с моего поста, как только выяснится вопрос о составе нового Совета министров, и заготовил даже заблаговременно мое письмо к государю, решив представить его тотчас же по назначении Витте председателем Совета министров. Мое решение окончательно укрепилось вечером 18 октября, когда мои отношения с графом Витте стали совершенно невозможными.

В этот день утром был опубликован знаменитый Манифест 17 октября, в составлении которого я не только не принимал никакого участия, но даже и не подозревал о его изготовлении, настолько все это дело велось втайне от меня и от всех, кто не был привлечен к нему из числа личных друзей графа Витте.

Сольский, конечно, знал обо всех перипетиях, предшествовавших изданию Манифеста, но, очевидно, имел в виду не выводить дела за пределы того, что было угодно Витте, а в частности, по отношению ко мне он был связан явно враждебными ко мне отношениями автора всего этого предположения. Насколько я не был в курсе этого дела, лучшим доказательством может служить маленький эпизод, относящийся к позднему, почти ночному, часу того же 17 октября.

У меня долго засиделись в этот вечер только что приехавшие из Парижа банкиры. Утомленный нервною беседою с ними и тревожными впечатлениями целого ряда предыдущих дней, я ушел было к себе в спальную уже около часа ночи, как раздался сильнейший звонок по внутреннему телефону, не включенному в общую телефонную сеть и известному только на главной станции да немногим близким людям.

Меня вызвала какая-то «инициативная группа распорядительного комитета студентов Политехнического института», – институт состоял в ту пору в ведении министра финансов, – и, нимало не смущаясь тем, что говорящие обращаются ко мне в такой неподходящий час, что и было мною сказано им тотчас же, спросили меня, подписан ли государем Манифест, который должен был быть подписан утром и вечером сдан для напечатания.

Я ответил, что мне это неизвестно, и так как говорящие продолжали настаивать, принимая все более и более вызывающий тон и заявляя, что им все прекрасно известно от лица, весьма близкого к графу Витте, то я предложил студентам обратиться к этому близкому графу Витте человеку и оставить меня в покое. Из последующих моих неоднократных разговоров с профессорами института я убедился, что никто не верил тогда, что я не был в курсе дела, осведомлял же студентов их директор князь Гагарин, который был женат на родной сестре князя Алексея Дмитриевича Оболенского – одного из авторов Манифеста.

В день опубликования Манифеста я получил приглашение от Петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова приехать к нему вечером на экстренное совещание. Предмет совещания в извещении обозначен не был, но в ту тревожную пору всякие совещания не были редкостью, а приглашение к генералу Трепову объяснялось между прочим и тем, что при беспорядках на улицах было проще попадать на Большую Морскую, где жил Трепов, нежели к председателю Комитета министров Витте, проживавшему в собственном доме на Каменноостровском проспекте. Я не могу припомнить сейчас всех участников собрания. Большинство их принадлежало к составу чинов Министерства внутренних дел, но помню хорошо, что от Министерства юстиции был покойный И. Г. Щегловитов, участвовал также и министр земледелия А. С. Ермолов.

Председательствовал граф Витте. Он нехотя подал мне руку, сказав, что удивлен, почему именно оказалось Министерство финансов заинтересованным в обсуждении вопроса об амнистии, на что я ответил ему, что получил приглашение от генерала Трепова, но буду очень рад, если окажется возможным освободить меня от дела, действительно не имеющего прямого отношения к моему ведомству. Трепов и почти все присутствующие решительно восстали против моего ухода, а Трепов сказал даже, что он получил прямое указание государя относительно состава совещания, в частности, особое указание лично в отношении меня. Мне пришлось остаться.

Проект статей манифеста о льготах преступникам был наскоро составлен в Министерстве юстиции, граф Витте сразу же заявил, что находит его слишком «трафаретным» и не отвечающим важности переживаемого момента, что нужно дать самые широкие льготы, в особенности осужденным за политические преступления, и возвратить из ссылки всех, открыть двери Шлиссельбургской тюрьмы и показать всем, кто подвергся преследованию, что нет более старой России, а существует новая Россия, которая – помню его слова – «приобщает к новой жизни и зовет всех строить новую, светлую жизнь».

Кое-кто из участников совещания пытался было возразить не столько против идеи амнистии, – так как, по заявлению графа Витте, она предreshена государем и о ней спорить не

приходится, – сколько против широкого ее объема и невозможности распространения ее без всякого ограничения на всех осужденных в свое время, без отношения к тому, какую часть наказания отбыли они, и в особенности против идеи графа Витте отворить двери Шлиссельбургской тюрьмы, выпустить на полную свободу всех в ней заключенных и предоставить им поселиться в столице без всяких ограничений.

Мы все, противники такой небывалой, неограниченной амнистии, старались настаивать на необходимости быть осторожным с проектируемыми широкими милостями, в особенности ввиду и без того разгоревшегося революционного движения. Но чем больше стремились мы к этому, тем нетерпеливее и несдержаннее делался граф Витте, а когда я присоединил и мои доводы к тем, которые говорили в этом смысле до меня, – его гневу и резкостям реплик не было положительно никакой меры.

Придавая своему голосу совершенно искусственную сдержанность, он положительно выходил из себя, тяжело дышал, как-то мучительно хрипел, стучал кулаком по столу, подыскивал наиболее язвительные выражения, чтобы уколоть меня, и, наконец, бросил мне прямо в лицо такую фразу, которая ясно сохранилась в моей памяти: «С такими идеями, которые проповедует господин министр финансов, можно управлять разве зулусами, и я предложу его величеству остановить его выбор на нем для замещения должности председателя Совета министров, а если этот крест выпадет на мою долю, то попрошу государя избавить меня от сотрудничества подобных деятелей».

Все переглянулись, я не ответил при всех ни одним словом, проект амнистии прошел почти в том виде, как настаивал граф Витте, удалось только не допустить права проживания в столицах и столичных губерниях отбывших каторгу, и мы разошлись.

Перед уходом от Трепова я подошел к графу Витте и, ссылаясь на слова, только что им сказанные, обратился к нему со следующими словами, которые я записал, придя домой, и которые сохранились у меня: «Позвольте мне довести до вашего сведения, что все происшедшее между нами с самой минуты вашего возвращения из Америки давно убедило меня в том, что при объединении правительственной деятельности в вашем лице, как будущего председателя Совета министров, мне не должно быть места в составе нового Кабинета. Сегодняшнее же ваше выступление против меня, сделанное в такой оскорбительной форме, дает мне право тотчас по вашему назначении на пост председателя Совета министров просить государя императора избавить вас от труда ходатайствовать перед его величеством об освобождении вас от такого сотрудника, и я сам подам прошение об увольнении меня от должности министра финансов».

Ответ Витте поразил меня своим цинизмом: «Я в этом нисколько не сомневался. Какое удовольствие быть министром, когда вас на каждом шагу окружают опасности; гораздо проще сидеть в спокойном кресле Государственного совета, произносить никому не нужные речи да интриговать против министров».

На этом мы расстались, не подав друг другу руки, и больше не разговаривали до самого моего ухода из министерства ровно через неделю после этого дня.

В такой атмосфере напряженного состояния мне пришлось вести переговоры с приехавшими французскими банкирами. Они шли в самой тягостной обстановке. День ото дня внешний вид города становился все более и более грозным. Приехавшие, хорошо знавшие Петербург в его обычной обстановке, просто недоумевали о том, что происходит на их глазах. Они доехали до города по железной дороге, но на пути их поезд был несколько раз задержан не только на станциях, но даже просто в поле, и они не знали, чему следовало приписать такие остановки.

Вместо обычного утреннего часа они прибыли под вечер и не успели разместиться в своих комнатах в гостинице «Европейская», как везде потухло электричество, и они провели первую ночь в совершенно необычной обстановке. В их среде возникло даже предположение о выезде обратно на следующее утро, но, соединившись со мною по телефону, – телефон в ту

пору не бастовал, – они считали себя связанными назначенным мною приемом и собрались у меня, как было условлено, днем.

Глава миссии, Нетцлин, пришел ко мне за полчаса и рассказал, что он успел побывать в посольстве, повидал кое-кого из французских журналистов и из всех бесед вывел то заключение, что революционное движение перешло уж свою высшую точку нарастания и должно скоро пойти на убыль, в особенности под влиянием ожидаемого манифеста о «даровании политических свобод», который, по общему мнению, будет иметь самое благотворное влияние.

Его личное заключение сводилось поэтому к тому, что следует вести переговоры как можно быстрее, не останавливаясь на мелочах и поспешить вернуться в Париж, с тем чтобы там осуществить заем, как только общее ожидание успокоения оправдается на самом деле. Он рассказал мне при этом, что среди его спутников настроение было совершенно иное и что, в частности, представитель Национальной учетной конторы Ульман хотел уже было уезжать сегодня же обратно, настолько на него повлиял вид Петербурга, вечерняя темнота и все, что ему успели передать некоторые из его утренних собеседников, но что против такого спешного отъезда особенно энергично выступил господин Бонзон, представитель «Лионского кредита», заявивший, что неблагоприятная обстановка может оказаться даже весьма выгодною для французских держателей будущих русских бумаг, так как министр финансов будет, вероятно, более уступчив.

Мне не приходилось разубеждать Нетцлина. Я не мог сообщать ему ни того, что было мне известно о разраставшемся Московском восстании, о котором вести доходили еще смутно, – ни о том, что происходит в Балтийском крае, ни о том, какие грозные вести идут из Сибири, ни, наконец, о том, что я решил покинуть пост министра финансов. Я поддержал его только в его собственном намерении вести переговоры быстро, не ставить меня в необходимость бороться против чрезмерных притязаний его коллег и придать нашим условиям обычный характер, допустив несколько более длинный период между подписанием нами условий займа и окончательным обязательством осуществить заем на самом деле, так как французскому рынку необходимо, конечно, дать несколько больше, чем всегда, времени для размещения займа.

Первая наша официальная встреча прошла совершенно гладко, никто из приехавших не поднял вопроса о невозможности приступить к выработке условий займа, никто не возражал против типа займа – пятипроцентной ренты, не спорил и против размера займа – до шестисот миллионов франков, – выражая только сожаление о том, что обстановка не благоприятствует заключению более крупного займа, например, в один миллиард двести миллионов, о чем говорил граф Витте в конце августа. Наиболее трудные решения – подробности о выпускной цене займа и, в особенности, о размере банковской комиссии – мы отложили, сначала на следующий день, а затем, ввиду заявления приехавших, что им нужен еще лишний день для внутренней работы в их среде, – на вечер через сутки, и я сожалел только, что не могу пригласить приехавших к обеду, так как жена моя не свободна в этот вечер.

Наше следующее вечернее собрание носило совершенно иной характер. Нетцлин приехал снова раньше других и под величайшим секретом сообщил мне, что виделся с графом Витте, который советовал ему как можно скорее, под каким бы то ни было предлогом, порвать переговоры и уехать обратно, предупреждая его, что на днях железнодорожное движение должно остановиться совсем, и затем сказал ему, что я уйду из министерства и буду заменен другим лицом, которое будет во всем исполнять его указания, и что он будет фактическим руководителем финансового ведомства, независимо от того, что ему предстоит занять на днях пост председателя Совета министров, на что он согласится только под тем условием, что он будет действительным руководителем всей не только внутренней, но и внешней политики России.

Оговорившись, что я не в курсе того, что известно, конечно, лучше всего графу Витте относительно внутреннего положения России и развития в ней революционного движения, я сказал Нетцлину, что я действительно покидаю министерство по коренному расхождению с

графом Витте, что мне ничего не известно относительно выбора моего преемника, но что я нимало не сомневаюсь в том, что моим преемником будет непременно лицо, лишенное всякой самостоятельности, так как все расхождение Витте со мною не имело никакого иного основания, кроме того, которое вытекало из моей, неприятной ему, самостоятельности, и полагаю поэтому, что это обстоятельство не должно нимало изменять хода наших переговоров, так как они все равно дойдут до него через Финансовый комитет.

Я просил Нетцлина поэтому довести все дело до конца в том направлении, которое было намечено нашим первым свиданием. Он обещал сделать все возможное, но не скрыл от меня, что настроение его спутников значительно упало за день, и, кроме Бонзона, никто не смотрит серьезно на возможность довести дело до конца.

Так оно и вышло на самом деле. Мы просидели до полуночи, в сущности, совершенно напрасно: спорили о мелочах, говорили о разных тонкостях редакции контракта, но все признавали, что мы тратим время по-пустому. Сама внешняя обстановка была в высшей степени тягостна: нас окружал давящий мрак, электричество не горело, у подъезда стоял, по желанию генерал-губернатора Трепова, усиленный наряд полиции, под эскортом которой наши французские гости вернулись в гостиницу «Европейская», и мы расстались с тем, что наутро участник этой экспедиции, специалист по контрактным тонкостям, служащий Парижско-Нидерландского банка, господин Жюль-Жак приготовит основание договора.

На самом деле никакой новой встречи между нами не произошло.

Утром Нетцлин сказал мне по телефону, что чувствует себя совершенно разбитым от всех переживаемых впечатлений, просит отложить свидание до следующего дня, а когда наступил этот «следующий» день, то в двенадцатом часу я получил от него письмо из гостиницы «Европейская» с уведомлением, что им удалось нанять финляндский пароход, с которым они и выехали спешно из России.

Так кончилась печально эта эпопея переговоров о займе. Впоследствии граф Витте не раз говорил, кому была охота слушать, что я просто не сумел заставить банкиров принять наши условия, а мое неукротимое упрямство и еще большая самонадеянность не надумили меня обратиться к нему за поддержкою, которую он охотно оказал бы мне, и не было бы того скандала, что приехавшие банкиры уехали с пустыми руками.

Глава VII

Рескрипт 20 октября 1905 года о назначении графа Витте председателем Совета министров. – Мое прошение об отставке. – Мой последний доклад у государя и прием у императрицы. – Витте воспротивился моему назначению председателем Департамента государственной экономики Государственного совета

19 октября, рано утром, когда я собирался ехать в лицей на обедню по случаю традиционной годовщины, ко мне пришел мой секретарь Л. Ф. Дорлиак и спросил меня, знаю ли я содержание рескрипта государя на имя графа Витте, по случаю предстоящего назначения его председателем Совета министров, добавив при этом, что самый проект учреждения Совета, вместо Комитета министров, уже напечатанный в «Правительственном вестнике», будет опубликован завтра, 20-го числа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.